ХРОНИКИ ХЕЛЬВИКА



СЕМЬ МИНУТ

18+

Wena_White

Wena White

Семь минут

«Автор»
2026

White W.

Семь минут / W. White — «Автор», 2026

Хельвика нет ни на одной карте. Его прячет туман ведьм, а под газовыми фонарями живут вампиры. Сто двадцать лет они пьют донорскую кровь, слабеют от неё и называют это миром.Лоренсию с колыбели растили, чтобы она стала женой нового главы рода Морвейнов. Её учили держать лицо, вести счёт и вежливо лгать. Но в ночь приезда жених даже не выходит из кареты. На причале её встречает его брат-близнец, и при запахе пролитой крови его глаза вспыхивают красным.Их разделяют семь минут, и в Хельвике эти минуты стоят короны. Один не снимает перчаток и держится в пяти шагах. Другой слышит, как стучит её сердце, и лжёт ей в глаза.До зимнего солнцестояния одиннадцать ночей. На дверях уже висят рождественские венки, а в галерее дома Морвейнов темнеет пустая рама, где был портрет женщины, умершей ради наследников. Если невеста умрёт, следующей привезут её сестру. А где-то в Хельвике хранится клинок, способный убить весь вампирский род.18+

© White W., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава первая. Ночь приезда 7
Глава вторая. Закат 19
Глава третья. Пустой прибор 33
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Wena White
Семь минут

Пролог

Семь минут
Хроники Хельвика. Книга первая
Wena_White
Груз сняли раньше, чем меня.

Паровой кран, кашляя, переставлял на причал ящики из тёмного дуба, окованные по углам железом. На каждом был выжжен наш знак, еловая ветвь в круге. Печати отец ставил сам, и потом у него весь вечер пахли палёным пальцы. Без печати кровь свернулась бы к утру, а с печатью могла пролежать до самой весны. Городу этого хватало на месяц. Ящики пересчитали дважды, меня один раз, по списку, одной строкой.

Хельвика нет на картах. Он лежит где-то между Исландией и Норвегией, на воде цвета олова, и последние три дня наш, ковенский корабль шёл в молочной мгле, а капитан сверял ход только с компасом и часами. Туман ставили ещё мои прабабки, и каждую осень заговор подновляют, как подновляют краску на воротах. Рыбаки, которым хватило бы духу зайти так далеко, поворачивают назад и потом не могут объяснить, зачем.

Нас учили, что Арон, первый из Детей Ночи, был отвергнут Морвелоаном, богом смерти, и тот закрыл перед ним врата. Имя бога Морвейны до сих пор носили в своём, и в ковене никто не мог мне объяснить, гордость это или клеймо. Мёртвым Арон не стал, живым остаться не мог, и от него пошёл весь род, которому нужна чужая жизнь, чтобы не рассыпаться. Теперь им отправляли донорскую кровь под нашей печатью, выдержанную, лишённую той силы, с какой её берут живой. Это называлось договором. Те, кто стоял по нашу сторону, предпочитали не думать, чего он стоит другой стороне. Я думала. Это входило в моё обучение.

Я готовилась к склепам. А Хельвик оказался набережной в жёлтом свете газовых рожков, и над рожками, на чугунных столбах, шипели дуговые лампы, каких я не видела даже в порту на материке. Электричество пришло сюда раньше, чем в человеческие города, и город носил его с заметной гордостью, как носят новые часы. По мокрой брусчатке тащилась конка. В окнах лавок стояли шляпки, имбирные пряники, стеклянные ёлочные шары и зелёные аптечные склянки. На дверях висели еловые венки с красными лентами, и я не сразу поняла, что это не наш знак и не в нашу честь. До Рождества оставалось две недели, и даже город, где почти не рождаются дети, готовился к нему, как все города на свете. А в витрине игрушечной лавки, у самой воды, стояла лошадка-качалка, и на ней не было ни пылинки.

Её я запомнила. В городе, где почти не рождаются дети, игрушки покупать некому, и всё же кто-то каждое утро протирал эту лошадку тряпкой. Я представила себе ту женщину и её упрямую, неуместную надежду и поскорее перестала.

Меня растили для этого двадцать один год, и растили честно. Мне объясняли, как объясняют ремесло, что от меня потребуется, что мне за это причитается и чем это кончается для большинства. Жертвой я себя не считала. За свой долг я собиралась взять имя, дом и право распоряжаться собой после, если будет кому распоряжаться. О жене главы Морвейнов в ковене вслух не говорили. Говорили коротко: она исполнила долг.

Встречать меня вышли двое. Увидела я одного.

Он стоял под фонарём без шляпы, в чёрном пальто, длинном не по моде и сшитом слишком хорошо, чтобы это было небрежностью. Тёмные волосы, давно не стриженные, падали ему на лоб. В левом ухе блестел крошечный серебряный крестик, а мужчин с серьгами я до сих пор

видела только на гравюрах в книжках про пиратов. На вид ему было лет двадцать пять. Бледное лицо, острые скулы, глаза цвета тёмного мёда под тяжёлыми веками. Очки с дымчатыми стёклами он держал за дужку и слегка покачивал, хотя солнце давно село.

Имена братьев я знала из писем. Знала, что они близнецы, что старший скоро станет главой рода, а младший будет при нём. Но как отличить одного от другого, в письмах не говорилось, и я стояла у трапа и гадала, кому из двоих сейчас сделаю реверанс.

У самого трапа грузчик задел ящик углом, и нижняя доска треснула. Внутри лопнула бутыль, по дубу поползла тёмная нитка. Я не вампир, но запах этот знаю, у нас в ковене им пахнет в каждой второй кладовой. Железо, дым, а под ними сладость, от которой у меня на секунду свело желудок.

Человек под фонарём не двинулся. Только мёд в его глазах выгорел до красного, как угли, когда с них сдувают золу, и тут же погас. Он надел очки раньше, чем я успела решить, что мне показалось.

Он постоял ещё немного, не дыша. Я видела, как он считает про себя, медленно, как считают пульс у больного, и как разжимаются его пальцы на дужке очков. Грузчики уже бранились над треснувшим ящиком, кто-то звал мастера, кто-то тащил мешковину. Он туда не смотрел. Он смотрел на меня.

Потом пошёл к трапу. Неторопливо, держа руки на виду, как подходят к пугливой лошади, и остановился в трёх шагах.

— Лоренсия, — сказал он. Не спрашивая.

Голос у него оказался тихий, таким говорят в комнате, где кто-то болен.

— Да, — сказала я. — А вы?..

Он чуть наклонил голову, то ли не расслышал, то ли решил, что отвечать на это не ему.

— Три дня в тумане, — сказал он вместо ответа. — Капитан говорит, вы не уходили с палубы.

— Хотела увидеть, где он кончается.

— И как?

— Он не кончается. Просто однажды оказывается позади.

У него дрогнул угол рта, почти улыбка. Он посмотрел на мои руки. Я вцепилась в ручку саквояжа так, что побелели пальцы, и только теперь это заметила. Холод был ни при чём.

Он снял пальто и накинул мне на плечи, хотя я не мёрзла. Я открыла было рот, чтобы так и сказать, и промолчала. Пальто пахло воском и дождём. Можно было считать это воспитанностью, и я позволила себе так считать.

— Простите, — сказал он. — Я не представился. Я…

За его спиной стояла карета. Окно было приоткрыто на ширину ладони, оттуда тянуло хорошим табаком, и на раме лежала рука в чёрной перчатке. Лица я не видела.

— Дамиан, — сказали из кареты. Негромко.

Он отступил от меня на шаг, хотя никто ему не приказывал.

Значит, Дамиан.

Из двух братьев мне полагался старший. Они родились в один день, с разницей в семь минут, и в Хельвике эти семь минут стоили короны, дома и, как выяснилось, меня. Под фонарём, стало быть, стоял младший. А в карете сидел тот, за кого мне предстояло выйти замуж. Из кареты он так и не вышел.

До зимнего солнцестояния, самой длинной ночи в году, оставалось одиннадцать дней. В ковене говорили, что у Морвейнов власть ещё ни разу не переходила без крови, и ящики с нашей печатью несли по причалу так осторожно, будто грузчикам это объяснили. Я шла за Дамианом в его пальто и считала дни. Тогда я ещё думала, что считаю их до свадьбы.

Глава первая. Ночь приезда

Экипаж сорвался с места ещё до того, как мы сошли с дощатого настила причала. Тяжёлые колёса, влажно блеснув чёрным лаком, прокатились в двух шагах от меня, спицы слились в тусклое жёлтое пятно, а плотная занавеска на окне кареты даже не дрогнула.

Лицо обдало жаром. Обижаться меня отучили давно. Двенадцать лет наставницы учили меня держать лицо, и выучили хорошо. Но сейчас я увидела себя чужими глазами, и вышло хуже всякой обиды. Одинокая фигурка в чужом, не по росту просторном пальто на продуваемом причале, саквояж в озябших пальцах. А позади сундуки с приданым, которые грузчики несли бережнее, чем здесь обошлись с невестой. С той самой невестой, которую не удостоили даже взгляда из окна.

— Брат очень спешил, — подал голос Дамиан. — Прошу его извинить.

Сказал он это скороговоркой, как заученное, и сам себе не поверил.

— Это его слова, или вы придумали их сами? — спросила я.

— Мои, — признался он и потёр шею под тугим воротником. — Брат выразился бы короче и хуже. Он не снисходит до объяснений, так что объясняюсь за него я. И всякий раз выходит скверно, потому что я лгу. Вы ведь сразу это поняли?

Я не ждала, что он признается так легко, и злость, которую я везла от самого трапа, на минуту осталась без дела.

Вскоре подогнали другой экипаж, скромнее, закрытый, с единственным фонарём над дверцей. Сундуки сгрузили на подводы, и при них поставили двоих рабочих в клеёнчатых плащах. Ни один из них так и не поднял на меня глаз.

Дамиан сел напротив. Едва я потянулась к пуговицам, чтобы вернуть ему пальто, он остановил меня жестом:

— Оставьте. Вы продрогнете, а мне оно без надобности. Я не чувствую холода.

— Я вовсе не озябла, — возразила я.

— У вас посинели губы.

Колкость застряла у меня на языке. Он улыбался криво, чуть виновато и при этом нисколько не раскаиваясь. Спорить было бы глупо. Я молча сдалась и плотнее запахнула тяжёлую ткань, которая пахла воском и дождём.

— Когда я волнуюсь, я болтаю, — сказал он. — Если замолчу, будет хуже. Я начну на вас смотреть, и вы почувствуете себя картиной в музее. Или ужином.

Он сказал это легко и тут же пожалел, у него дёрнулся угол рта. А я фыркнула. Благовоспитанные невесты так не фыркают, и мне это неожиданно понравилось.

— Вот, — сказал Дамиан с облегчением, и тёмный мёд его глаз под тяжёлыми веками потеплел. — Так гораздо лучше. Мне было важно, чтобы вы хоть раз улыбнулись. Пусть даже над тем, над чем не следует.

Мы ехали медленно. Экипаж, поскрипывая рессорами, тянулся в гору мимо домов из тёмно-красного кирпича, тесно прижатых друг к другу и наглухо закрытых ставнями. Кое-где сквозь щели пробивался свет. Горело окно булочной, на углу зеленел аптечный шар, а в одном окне, между неплотно сдвинутыми ставнями, теплилась свеча в еловой ветке. У нас в Гренхольме такие ставят в окнах в последние ночи перед Рождеством, чтобы путник нашёл дорогу. Я не думала, что здесь, за туманом, тоже ждут путников. На улицах не было ни души. Никто не курил у дверей, никто не обернулся на стук колёс. Здесь давно привыкли не замечать того, что поднимается в гору по ночам.

Дамиан выдержал минуты две. Потом, не поднимая глаз и поворачивая на пальце перстень с тёмным камнем, заговорил снова, глухо:

— Я должен объясниться за причал. За то, что вам пришлось увидеть. — Он оборвал себя и сжал губы. — Обычно я прекрасно владею собой. Просто ящик треснул слишком близко, а я не был готов.

Мне ничего не стоило солгать. Сослаться на туман, на усталость, на игру света под фонарём. Наставницы хвалили меня за такое гладкое вежливое враньё. Но я посмотрела на его пальцы, вцепившиеся в колено так, что побелели костяшки, и поняла, что солгать ему сейчас значит оставить его одного с тем, что он о себе знает.

— Я видела ваши глаза, — сказала я, и собственный голос показался мне чужим. — И запах я тоже почувствовала. Мне стало страшно, не стану отрицать. На одну секунду.

Он поднял голову.

— Одну? — В глубине его глаз на миг вспыхнула красная искра, и мне стало жарко под чужим пальто. — Значит, я плохо старался.

В карете стало тесно. Я не отвела взгляда, хотя очень хотелось, и он отвернулся первым, к окну, к закрытым ставням.

— Дурная шутка, — сказал он ровнее. — Я не умею шутить о том, что не смешно.

— Вы остановились, — сказала я. — Там, у ящика. Я видела, как вы остановились.

— Вы не знаете, чего это стоит.

— Не знаю, — согласилась я. — Но вы были белый, как скатерть. Значит, дорого.

Он ничего не ответил. Только чуть наклонил голову, прислушиваясь.

— У вас частит пульс, — сказал он тихо, не глядя на меня. — Я слышу.

— Не слушайте.

— Не могу. — Уголок его рта снова дрогнул, на этот раз без всякой вины. — Могу только делать вид, что не слышу. Это я умею лучше всего.

До самого дома мы молчали. Я слушала собственное сердце и злилась, что его слышит и он.

Дом Морвейнов я поначалу приняла за скалу. Он венчал вершину холма над бухтой, тёмный, молчаливый, и нижние его окна глядели слепо, как закрытые глаза. Лишь когда экипаж въехал в ворота, из темноты стали проступать тяжёлые карнизы, частокол труб, ряд высоких окон верхнего этажа, тоже тёмных. Гравий под колёсами хрустел так громко, что мне захотелось попросить кучера ехать тише.

Дверь распахнулась прежде, чем колёса замерли. В просторном холле, полном холодного воздуха, выстроилась прислуга. Экономка, женщина лет пятидесяти с тяжёлой связкой ключей у пояса, и четверо слуг в ряд. Они поклонились мне разом, и все до одного посмотрели чуть мимо, на мою шаль, на чужое пальто, на каменные плиты у моих ног. Живые люди. Значит, и здесь, в городе, которого нет ни на одной карте, кому-то приходилось по утрам мыть полы.

Только одна девушка, жавшаяся к стене чуть поодаль, не отводила глаз. Она глядела на меня с жадным любопытством, с каким дети разглядывают заезжего фокусника. Я встретила её взгляд, и девушка вспыхнула до корней волос, уткнулась в пол, но через мгновение снова подняла глаза, не удержалась. Она была красива той простой красотой, которая не знает себе цены. Волосы цвета старой меди не желали умещаться ни под каким чепцом, глаза огромные, зелёные, скулы румяные. Лет восемнадцать. Она стояла так, будто тело досталось ей на один день и она смертельно боялась его уронить. На шее поверх воротника поблёскивал простой железный крестик, и пальцы её то и дело к нему возвращались.

— Это Тильда, дочь нашей экономки, — сказал Дамиан. — Если вы не против, она станет вашей помощницей. Покажет дом, принесёт воды, всё, что понадобится. А если пожелаете кого-нибудь постарше, я найду, и никто не обидится.

При звуке его голоса Тильда вздрогнула и стиснула крестик. На Дамиана она не взглянула ни разу. Присев в реверансе, она склонилась так глубоко, что наступила на собственный подол, и экономка, не поворачивая головы, поймала её за локоть.

— Я так рада, госпожа! — выпалила Тильда, глядя только на меня. — Мама говорила, у вас в городе ведьмы превращают в жаб за немытую посуду, а я сказала, что это, наверное, только по праздникам, а она сказала, что я дура, а я…

Экономка с мученическим видом закрыла глаза. Дамиан сделал вид, что у него зачесался нос. А у меня сами собой поползли вверх уголки губ. Впервые за три дня я улыбнулась не по выучке.

— Только по большим праздникам, — серьёзно подтвердила я. — А сегодня, по счастью, самый обычный день.

Тильда просияла, и тут же, опомнившись, снова схватилась за крестик.

— Я не против, — сказала я Дамиану.

— Я так и думал.

— Добро пожаловать, госпожа, — негромко произнесла экономка, открыв глаза.

В этом простом «добро пожаловать» я услышала выговор нашего порта, мягкий, певучий, с проглоченными окончаниями. Я не слышала его с самой посадки на корабль. У меня перехватило дыхание, а ответить я не успела, женщина уже смотрела на свои ключи.

— Госпожа Лоренсия устала, — сказал Дамиан слугам. — Я сам покажу ей дом. Сундуки в западную спальню, не в синюю. И затопите камин.

Он не повысил голоса. Но лакей, уже взявшийся за ручку сундука, развернулся так быстро, что едва не уронил его, а остальные разошлись без единого слова. Со слугами Дамиан говорил коротко и ровно, таким голосом не просят. Со мной он так не разговаривал. Выходило, что мягкость он приберегал для меня.

— Я не устала, — сказала я.

Он повернулся ко мне с искренним недоумением.

— У вас тени под глазами.

— Это значит лишь, что три дня я смотрела в туман, — отрезала я. — А вовсе не то, что я устала.

— Я снова решил за вас, — сказал он и склонил голову. — Постараюсь больше так не делать.

В голосе его не было ни тени раскаяния, и я поняла, что решать за меня он будет и дальше, просто станет делать это тише.

Дом он показывал неторопливо, и по тому, как называл комнаты, ровно, почти заученно, было ясно, что он репетировал. Заранее, вполголоса, в пустом коридоре. Я узнала эту манеру. Так готовятся к переговорам.

В холле с чёрно-белым мраморным полом, у противоположных стен, стояли двое одинаковых напольных часов. Они показывали разное время. Я перевела взгляд с левых на правые, потом на Дамиана.

— Не трогайте, — сказал он, и голос его дрогнул. — Их никто не трогает. Это долгая история. Отец расскажет лучше меня, если захочет.

Гостиная, в которой никто никогда не гостил. Столовая на тридцать персон, где скатерть была расстелена лишь с одного конца. Музыкальный салон с закрытым роялем, на крышке которого лежал ровный слой пыли, единственный, что попался мне на пути. И длинная галерея портретов. Все Морвейны, мужчины и женщины, были написаны молодыми, и у всех был один и тот же прямой, ничего не прощающий взгляд. Только через минуту я поняла, что живописцы им не льстили.

Между двумя тяжёлыми рамами темнел прямоугольник, чуть больше остальных, обои под ним сохранили первоначальный цвет. Четыре чёрные точки от гвоздей. Мимо него Дамиан

прошёл быстрее, чем мимо прочих, и заговорил громко и оживлённо, про сквозняки, про трубы, которые шумят в этом крыле, про то, что я скоро привыкну и перестану вздрагивать.

— Здесь кто-то висел, — сказала я.

Он остановился. Не обернулся.

— Мама. Отец не мог выносить её взгляда и велел снять. А выбросить рука не поднялась. Так что портрета нет, а гвозди остались.

Я знала, как её звали. В нашем ковене это имя не произносили вслух, и я не произнесла его даже теперь. Только коснулась его рукава.

— Мне очень жаль.

Это были те слова, что говорят, когда сказать больше нечего, и мы оба это знали. Но Дамиан кивнул, и рука его под моими пальцами на мгновение окаменела, а потом медленно, с усилием, отпустила.

— Восточное крыло, — сказал он уже обычным голосом, когда мы миновали высокую двустворчатую дверь. — Там живёт тётя Серафина. Она найдёт вас сама, она всегда находит. Вы её полюбите. Её все любят.

— А ваш отец?

— Кабинет отца, — он кивнул на тёмную дверь в конце коридора. — Он примет вас завтра. Просил передать, что рад вашему приезду.

Просил ли, или Дамиан решил, что так будет вежливо, я не знала. И на этот раз промолчать не стала:

— Он действительно так сказал?

Дамиан помедлил.

— Он сказал: «Проследи, чтобы ей было тепло». — И улыбнулся уголком рта. — Я счёл, что это одно и то же.

В библиотеку мы лишь заглянули. Пахнуло бумагой, кожей, лаком и давно выветрившимся табаком. За весь вечер это был первый запах, оставленный живым человеком, который когда-то сидел здесь с книгой. Потом Дамиан повёл меня вниз.

— Здесь кухня. Её открыли только на прошлой неделе. Повара выписали с материка, он приехал третьего дня и до сих пор не оправился от тумана. — Дамиан замялся. — Ваш отец прислал перечень, что вы любите и чего не переносите. Я позволил себе им воспользоваться.

Перечень. Я так ясно увидела, как отец склоняется над листом, перебирает в памяти вкусы старшей дочери и записывает их пунктами тем ровным, сдержанным почерком, которым составляет счета. Грибной суп. Хлеб с тмином. Мёд, но не липовый. Горло сдавило. Надо было что-нибудь сказать, а я не смогла.

Дамиан молча протянул мне платок. Ничего не спросил, не стал делать вид, что не заметил, просто держал его на весу и ждал. Я взяла, и наши пальцы почти встретились. Он убрал руку первым, слишком быстро, и я заметила, как он сжал её в кулак у бедра.

Целую минуту я его за это ненавидела. За деликатность, за то, что мне позволили не объяснять. А потом платок оказался мягким, истёртым от многих стирок, и пах дождём и холодной шерстью, как пальто, что до сих пор грело мне плечи. Ненависть растаяла.

Меня растили для этого дома, но ни разу не сказали, как в нём пахнет. Холодный камень и воск, больше ничего. Ни дыма, ни стряпни, ни трав, ни людей. Так пахнет дом, где давно никто не готовил и не болел. Я шла за Дамианом по длинному коридору и пробовала про себя слово «мой», как пробуют чужую обувь. Жало.

Я понимала, что отныне это мой дом. Двадцать один год я готовилась понимать именно это и не сомневалась, что пойму. Никто не сказал, что одного понимания мало.

Ужин накрыли в малой столовой, для меня одной. В камине потрескивал огонь, и впервые за вечер в воздухе было тепло.

— Я позволил себе выбрать эту комнату, — сказал Дамиан, отодвигая мне стул. — В большой вы бы затерялись.

Он не ушёл. Сел напротив и поставил перед собой тяжёлый хрустальный бокал с густой тёмной жидкостью, без пены и без блеска. Запах я всё-таки уловила. Тот самый, что шёл от треснувшего ящика, железо и дым, только приглушённый печатью. Руки Дамиан держал на скатерти, на виду, неподвижно, и я поняла, что он делает это нарочно.

— Я мог бы выйти, — сказал он, заметив мой взгляд. — Но тогда вы остались бы одна. По-моему, это хуже.

— Мне всё равно.

— А мне нет.

Подали суп из сушёных грибов. Он был почти таким, как дома. Почти. Грибы здесь сушили по-другому, без дымка, и вкус вышел чистый, лавочный, ничей. Я съела всё до последней ложки и долго смотрела в пустую тарелку. Я ждала именно этого супа, и это был не он.

На третьей ложке я заметила, куда он смотрит. Не на губы. Ниже, туда, где под воротником билась жилка. Он поймал мой взгляд и спокойно, без суеты отвёл глаза к огню, как отводят руку от горячего.

— Повар бы обиделся, узнай он, о чём вы сейчас думаете, — сказал он, и в уголках его глаз собрались смешливые морщинки.

— Я ничего не говорила.

— У вас всё написано на лице. — Он улыбнулся. — Я, между прочим, тоже сегодня попробовал, для проверки. Не ел горячего лет десять, оказалось, не разучился. Повар застал меня у кастрюли с ложкой в руках. Теперь мы оба делаем вид, что этого не было. Он боится меня, а я его. Очень здоровые отношения.

Я рассмеялась, звонко, сама того не ожидая, и тут же испугалась, что это вышло так легко. Дамиан не смеялся. Он смотрел на меня и молчал, а я не знала, куда деть глаза.

— Расскажите мне о вашем доме, — попросил он. — Если захотите. Я ничего о нём не знаю, кроме перечня.

Я хотела вежливо отказаться. Вместо этого услышала собственный голос:

— У меня две сестры. Мирабель семнадцать, Клариссе тринадцать. Мирабель провожала меня на пристани и всё время молчала, а потом сунула мне в карман веточку полыни. От дурных снов. Я нашла её уже на корабле и не знала, плакать или смеяться. Полынь от дурных снов кладут покойникам, а не невестам.

Я осеклась. Он слушал не улыбаясь, не торопя.

— Вы ей не сказали? — спросил он.

— О чём?

— Что нашли.

— Нет. — Я скомкала платок в пальцах. — Она бы решила, что я обиделась. Она станет следующей, если я… если со мной что-нибудь случится. Обычай не ждёт. Впрочем, неважно.

— Важно, — мягко, но твёрдо сказал Дамиан. — Расскажите ещё.

И я рассказывала. Про Клариссу, которая таскает из кладовой сушёные яблоки и клянётся, что их съели мыши. Про отца, который, когда сердится, садится чинить часы, потому что на часы нельзя накричать. Я говорила и одновременно считала, как меня учили. Что из этого он передаст отцу, что брату, что оставит себе. Привычка. Только впервые в жизни счёт у меня сбивался.

— А ваш брат? — спросила я наконец. — Мы увидимся?

— Он занят. Он всегда занят в эту неделю. — Дамиан покрутил бокал в пальцах. — Не принимайте на свой счёт. Он не любит новых людей. Он вообще людей не любит, это у него давно. Он старше меня на семь минут, а ведёт себя так, будто на семь лет.

— Вы его любите, — сказала я.

— Конечно, — ответил он, как говорят о погоде. — Что не мешает мне временами мечтать как следует его стукнуть.

Я ему позавидовала. Мне самой сто раз хотелось стукнуть Мирабель, и сейчас я бы многое отдала, чтобы она оказалась рядом и можно было.

Мою комнату отвели на втором этаже, в конце коридора, окном на бухту. Здесь тоже растопили камин. Огромная кровать была застелена так туго, что хотелось нарушить эту безупречность. А на столе, в простом стакане, стояла еловая ветка.

— Я позволил себе распорядиться, — сказал Дамиан. — Подумал, вам будет приятно.

Это случилось в третий раз за вечер, и я перестала считать.

Ель была нашим знаком, но не нашим запахом. Родной дом пах золой, полынью, сушёным зверобоем и мокрой шерстью, и такой ветки там не нашлось бы ни за какие деньги. Здесь угадали знак и промахнулись с запахом, и от этого мне стало ещё чужее, чем если бы не старались вовсе.

Но он ждал, и я сказала как умела:

— Благодарю вас.

Он кивнул и задержался в дверях.

— Моя комната в этом же коридоре, третья по счёту. Если что-то понадобится, стучите в любое время. Я всё равно не сплю по ночам.

— Дамиан, — окликнула я.

— Да?

— Вы не обязаны всё за меня устраивать. Комнату, ужин, платок… Я справлюсь.

На какую-то секунду мне показалось, что я его ударила.

— Я знаю, что справитесь, — сказал он. — Просто мне всё время кажется, что если я не позабочусь обо всём заранее, то непременно случится что-то страшное. — Он помолчал. — Заприте на ночь дверь, Лоренсия. Не от меня.

— А от кого?

Он улыбнулся, и в этой улыбке не было ни капли вины.

— Хотя и от меня тоже. Спокойной ночи.

Дверь он закрыл так осторожно, что замок не щёлкнул. Я осталась стоять посреди комнаты с его платком в руке и не сразу поняла, почему у меня горят щёки. А когда поняла, рассердилась на себя сильнее, чем на него.

Дверь я заперла. Ключ повернулся тяжело, со скрипом, и я долго смотрела на него, пытаясь решить, от кого же всё-таки заперлась.

Минут через десять постучали, коротко и торопливо, как стучат те, кто боится передумать.

— Войдите.

Ключ пришлось поворачивать обратно, и Тильда, едва войдя, уставилась на замок круглыми глазами. В одной руке она несла грелку, закутанную в полотенце, в другой кувшин с молоком, а под мышкой ещё что-то, и по всему было видно, что выбраться из этого положения без потерь ей удастся только чудом. Она тут же задела косяк, зашипела и едва не выронила всё разом. Я подхватила кувшин.

— Ой, нет, госпожа, вам не положено! — всполошилась Тильда и тут же сама сунула кувшин мне в руки, потому что иначе он оказался бы на полу.

Грелкой оказался горячий камень, нагретый в печи. Тильда сунула его под одеяло и принялась разглаживать постель ладонями, бережно, как гладят кошку. Под мышкой у неё был гребень.

— Простыни у нас холодные, господам ведь тепло не нужно. И камины топят только в двух комнатах. Нет, в трёх, ещё кухня, — затараторила она. — Молоко — это если ночью проснётесь. Оно остынет, ну и ничего, холодное тоже пьют. Ой! Повар велел сказать: мёд не липовый. Он из-за вашего мёда весь нижний город обегал. Вам правда нельзя липовый?

— От него болит голова.

— Я так и сказала! — Она произнесла это с торжеством человека, выигравшего долгий спор. — Ой. Мама велела говорить поменьше. Я стараюсь.

— И как, получается?

— Ужасно, — призналась Тильда так честно, что хотелось заранее простить ей всё, что она ещё разобьёт.

Потом она спросила, можно ли причесать меня на ночь. Я открыла было рот, чтобы сказать ей то же, что Дамиану, что справлюсь сама. А сказала:

— Хорошо.

Я села перед зеркалом, а Тильда встала позади и принялась вынимать шпильки, по одной, шёпотом их пересчитывая. Никто, кроме сестёр, не касался моих волос с тех пор, как я себя помню. Глаза сами закрылись.

— Какие у вас волосы, — выдохнула она. — Как на картине. Только на здешних картинах у всех одинаковые, а у вас прядь светлая, прядь тёмная. Это от природы? Или вы что-то… Мама говорит, у ведьм всё от природы, только природа у них своя. Правда?

— Отчасти. — Я открыла глаза и встретила её взгляд в зеркале. — У вас у самой чудесные волосы.

— Рыжие, — вздохнула она. — В этом доме на них все смотрят. Я их прячу, а они лезут. А правда, что вы лечите?

— Правда.

— Я так хочу научиться! — Гребень в её руке подпрыгнул. — Научите меня? Не сейчас, потом, когда вы обживётесь.

Я посмотрела на неё в зеркале. На руки, которые ничего не умели держать. На глаза, которые всё замечали.

— Научу, — сказала я. — Но не даром.

Гребень замер.

— Так у меня же только жалованье, — растерялась Тильда. — И его мама забирает. На приданое. Хотя кому оно…

— Мне не нужны деньги. Мне нужны рассказы. Кто в этом доме кого боится. Кто кому носит записки. Кто не спит по ночам и куда ходит.

— Это же сплетни, — прошептала она, но глаза у неё загорелись.

— Это реестр, — сказала я. — Травы я тоже знаю по реестрам. Полынь от бессонницы, тысячелистник от крови. А люди от чего?

Тильда прикусила губу. Я видела в зеркале, как мамин запрет борется в ней с любопытством и проигрывает.

— Тогда для начала ромашку, — сказала она наконец и тут же замотала головой. — Нет, ромашку я и так знаю, нечестно выйдет. Календулу?

— Календулу, — согласилась я.

Она кивнула серьёзно, как кивают над подписанным договором, и снова взялась за гребень.

— Господин Дамиан стоял у вашей двери, — сказала она, понизив голос. — Это первое. Бесплатно.

— Когда?

— Перед тем, как вы заперлись. Я шла с кухни, увидела его с поворота и спряталась за угол. Он стоял и стоял, минут десять. Я думала, постучит. А он услышал, как вы ключ повернули, и ушёл. — Она помолчала. — Он, наверное, проверял, заперлись ли вы.

Мне стало тепло и тесно сразу, будто кто-то с самыми добрыми намерениями затягивал на мне невидимый корсет.

— А какие они? — спросила я, хотя не собиралась. — Вы ведь давно их знаете.

Тильда перестала причёсывать. В зеркале я увидела, как она вся съёжилась.

— Я стараюсь им на глаза не попадаться, — прошептала она. — Знаю, что живую кровь они не пьют. Договор, и мне ничего не грозит, мама это с пелёнок твердит. А всё равно. — Пальцы её сомкнулись на крестике. — Мама говорит, крестик не защитит, это просто железо. Но с ним спокойнее.

— У господина Дамиана такой же. В ухе.

— Знаю! — Она поморщилась, как от зубной боли. — Хуже всего, когда он при мне трогает серьгу. Я не пойму, шутит он или нет.

— Шутит, — сказала я и тут же засомневалась. — Кажется.

— Господина Дамиана я меньше боюсь, — призналась Тильда. — Мне было шесть, я упала с лестницы и сломала руку. Он нёс меня к доктору в нижний город, всю дорогу на руках. Я орала, а он ни разу не уронил. Потом я его неделю боялась: у него глаза… ну, вы видели. А господин Александр… — Она запнулась. — Его все боятся. Но он ещё никого не уволил, я проверяла. А три года назад, когда у мамы болела нога, он заплатил ей жалованье на полгода вперёд и велел мне молчать. — Она в ужасе прижала ладонь ко рту. — Ой. Это второе. Это я зря. Вы ведь не скажете?

— Не скажу.

— Вот и хорошо. — Она выдохнула. — Вы не бойтесь, госпожа. Они не страшные. То есть страшные, но не…

Я не ответила. Пальцы мои сами нашли отцовское кольцо и принялись его поворачивать.

— Вы кольцо крутите, — сказала Тильда. — Мама тоже передник мнёт, когда говорит, что ей не страшно.

Я остановила пальцы. Тильда охнула и прижала гребень к груди.

— Простите! Я не умею вежливо. Мама говорит, меня никуда нельзя пускать.

— Вы были бы прекрасной лекаркой, — сказала я. — Вы видите то, что люди прячут.

Она покраснела до ушей, а потом молча вытащила из рукава огромный клетчатый платок и сунула мне в руки.

— Я не плачу, — сказала я.

— Это на всякий случай. У нас в доме все носят платки.

— Почему?

— У нас часто плачут, — просто ответила она. — Только в основном не вслух.

Я положила клетчатый платок рядом с тем, другим, мягким и истёртым. Два платка за один вечер, и ни одной слезы. Наставницы мной гордились бы.

— Вы родились здесь?

— Да. — Тильда присела на край кровати, спохватилась и вскочила. — А мама с папой из вашего порта. Папа конюх, это он вас сегодня вёз. Мама приехала девушкой, нанялась горничной к госпоже Исольде. А папа поехал следом, говорит, без неё ему и порт не порт. Мы не колдуны, ничего такого. Обыкновенные. Только я дальше Хельвика нигде не была, так что он мой дом. Мама говорит, где тихо, там жить можно.

Я попыталась представить, каково это, когда домом становится место, куда тебя привезли служить. У меня не вышло. Впрочем, меня привезли сюда за тем же.

— А дома вас как звали? — спросила вдруг Тильда. — Лоренсия ведь длинно. У нас бы сократили.

— В ковене Лоренсия. В порту меня звали бы Лоттой, но в порту меня никто не звал. Ковен даёт дочерям книжные имена, чтобы портовые не путали нас со своими.

— Лотта, — повторила Тильда, пробуя. — Лотта вам не идёт.

— Нет, — согласилась я. — Не идёт.

— А мама про госпожу Исольду не рассказывает, — сказала Тильда тише. — Мне спрашивать нельзя. Но иногда я вижу: стоит мама в галерее у пустого места. Просто стоит, минут пять. А потом идёт дальше, будто ничего не было.

Я промолчала. Но запомнила. В этом доме есть человек, который знает, как всё было, и который родом из моего города. Это стоило дороже календулы.

Тильда собрала шпильки в шкатулку и задержалась у полки. Там стояла круглая коробочка, которой я раньше не замечала.

— Это пудра. От госпожи Серафины. Она увидела вас из окна, когда вы подъехали, и сразу послала. Велела передать, что вам понадобится, потому что… — Тильда покосилась на моё лицо. — Из-за веснушек. Только вам же не надо? По-моему, у вас красиво.

Меня учили закрывать их с двенадцати лет. Я перестала два года назад, и за эти два года никто ни разу не сказал, что это красиво.

— Не надо, — сказала я. — Но поблагодарите госпожу Серафину.

У двери Тильда обернулась.

— Если что-нибудь понадобится ночью, дёрните шнурок у изголовья. Я за стеной, в маленькой комнате. Я чутко сплю. Мама говорит, это потому, что я всё время жду, чем бы заняться.

— Спокойной ночи, Тильда.

— Спокойной ночи, госпожа Лоренсия. — Она уже взялась за ручку, но не удержалась: — Я так рада, что приехали вы.

И убежала. Дверь закрылась с тем осторожным беззвучным щелчком, который здесь, кажется, умели все.

Заснуть я так и не смогла. Дом молчал той плотной тишиной, в которой слышишь собственное дыхание и бег крови в ушах. В два часа ночи внизу пробили одни часы. Спустя время, которое я вовсе не собиралась считать, отозвались вторые. Я злилась на себя, но только после того, как досчитала до семи.

Шнурок звонка висел у изголовья. Я посмотрела на него и не потянула. Тильда пошла бы со мной, и пришлось бы объяснять, куда и зачем.

Скучная книга всегда выручала меня. В ковене я засыпала над реестрами трав, и слова постепенно сливались в мерный шум воды. Накинув шаль поверх сорочки и сунув босые ноги в ботинки, я взяла свечу. Я не нарушала ни одного правила, мне прямо сказали, что дом отныне мой, но кралась как воровка, по самому краю дорожки, где паркет не скрипит.

Дверь библиотеки была приоткрыта. Из щели на пол ложилась полоса зелёного света, не свечного и не газового. Я толкнула тяжёлую створку.

— Дамиан, — раздался из глубины комнаты ровный, бесконечно усталый голос. — Ты опять не спишь.

Я замерла со свечой в руке.

Он стоял в дальнем конце зала у высокой конторки, опираясь на неё одной рукой. Рукава рубашки закатаны до локтей, жилета нет, а на руках чёрные перчатки. Те самые, что я видела на раме кареты. Единственная лампа здесь была электрической, под зелёным абажуром, и в её свете зачёсанные назад волосы казались седыми. На самом деле они были пепельными.

Он поднял голову и увидел меня. По лицу его пробежала досада, и он быстро с ней справился. Он выпрямился и небрежно, левой рукой, отодвинул за конторку стакан, стоявший рядом с ведомостью. Я успела заметить, что в нём было тёмное.

— Прошу прощения. Я принял вас за брата.

— Он ходит по ночам?

— Когда думает, что я что-то скрываю. — Уголок его рта дрогнул без всякого веселья. — Обычно не ошибается.

Глаза цвета стали под тёмными бровями изучали меня так, как изучают подпись, проверяя, подлинная ли. Мне стало неловко за ботинки на босу ногу, за небрежно наброшенную шаль, за свечу, которая горела здесь без всякой нужды.

— Александр Морвейн. Мы не были представлены.

— Были бы, — слова сорвались прежде, чем я решила их сказать. — Если бы вы вышли из кареты.

Вся обида этого бесконечного вечера поднялась к горлу, и я не стала её останавливать.

— Я ждала одиннадцать минут. Считала. Сначала ваши ящики, потом вашего брата, потом собственные ботинки. Вы могли хотя бы приоткрыть окно.

В библиотеке стало так тихо, что я услышала, как где-то в глубине дома капает вода.

— Одиннадцать, — повторил он.

— Я считала.

— Семь из них моя вина. — Он помолчал. — Остальные четыре на совести Дамиана. Он умеет заговаривать.

Я ждала холода, выговора, чего угодно, а получила точный ответ. Это выбило у меня почву из-под ног вернее, чем если бы он повысил голос.

— Почему вы не вышли?

— Вы бы сделали реверанс. — Он смотрел на меня прямо. — Я не хотел, чтобы знакомство началось с поклона. Решил, что обида лучше. Видимо, ошибся.

— Не ошиблись, — призналась я, чувствуя, как горят щёки. — Я бы поклонилась.

— Вот. Этого я и не хотел.

Ведомость он не прятал. Закрыл её, не быстро и не медленно, так, чтобы я успела увидеть колонки цифр и оттиск еловой ветви в углу страницы. Стакан остался за конторкой, и мы оба сделали вид, что его нет.

— Я знаю, что в нём, — сказала я. — Я это привезла.

— Вы привезли. Я считаю. — Он постучал пальцем в перчатке по закрытой ведомости. — В этом месяце на одиннадцать ящиков меньше, чем обещано. Ваш ковен называет это бережливостью.

— Мой ковен называет это договором.

— Вот именно, — сказал Александр. И больше ничего не добавил, но я впервые увидела, как он злится. Не на меня. На что-то давнее и большое, чего мне с моего места было не разглядеть.

Я хотела спросить, на кого. Не спросила.

— Вам не спится, Ренси.

Пламя свечи дрогнуло.

— Меня так зовут сёстры, — выговорила я. — Больше никто.

— В письме вашего отца Совету вы названы так один раз, в приписке. Он просит обращаться с вами бережно. Я решил, что приписка важнее письма.

Отец, который всю жизнь говорил со мной как со старшей ученицей, как с равной по ремеслу, написал обо мне «Ренси» в приписке чужим людям. Я стояла и считала, сколько лет он не называл меня так вслух, и досчитала до шести, прежде чем смогла снова дышать ровно.

— Если вам неприятно, я не стану, — сказал Александр, и в голосе его впервые послышалась неуверенность.

— Дамиан зовёт меня Лоренсией.

— Дамиан зовёт вас по метрике. Это тоже вежливость.

Я рассмеялась, коротко и невпопад, и зажала рот ладонью. Он не улыбнулся, но глаза его неуловимо изменились.

— Можно, — сказала я слишком поспешно.

Он кивнул так, как кивают, принимая подпись.

— Вам нужна книга.

— Скучная. Чтобы уснуть.

— Вы читаете, чтобы уснуть?

— Дома я читала реестры.

— Тогда мы с вами одной крови, — сказал он и тут же поморщился. — Неудачное выражение.

Я уже смеялась в голос. Он сделал вид, что внимательно рассматривает потолок, но плечи его чуть опустились, и я поняла, что он не рассердился. Что он, может быть, даже доволен и сам этому не рад.

Он двинулся вдоль стеллажа, и я поймала себя на том, что меряю расстояние: пять шагов между нами, потом шесть. Ближе он не подошёл ни разу. Снял с полки тонкий том в зелёном полотняном переплёте и протянул мне на вытянутой руке, как передают через стол.

— «Флора северных островов». Составлена для лечебных садов. Слов много, событий нет.

Я взяла книгу за корешок, стараясь не задеть перчатку, и невольно взглянула на его руку.

— Это не от вас, — сказал он сразу, резко. — Я всегда в них.

— Я не спрашивала.

— Вы посмотрели. Не смотрите.

Он сказал это без злости, но я поняла, что подошла к тому, к чему подходить нельзя, и в следующий раз он не станет предупреждать. Я опустила глаза на книгу.

— Откуда вы знаете, что такой подарок меня не оскорбит? — спросила я, чтобы нарушить тишину.

— Ваш отец писал, что вы лечите. Этих трав у вас дома нет. Здесь растут. — Он пожал плечами. — Знакомое и незнакомое. Как всё здесь.

Я не нашлась с ответом. Я стояла со свечой и чужой книгой, в ботинках на босу ногу, посреди чужой библиотеки, и мне нестерпимо захотелось попросить его не стоять так далеко. Я не знала, о чём именно прошу, и от этого злилась.

— С вами здесь будут обращаться очень бережно, — сказал он, глядя в бумаги. — Дамиан иначе не умеет. Если понадобится иначе, скажите мне.

— Иначе — это как?

— Прямо. Без «позвольте» и «я позволил себе». Вы заметили, как он это говорит?

— Заметила.

— Он не нарочно.

— Знаю.

— И всё-таки посчитайте, — сказал Александр. — Однажды вам понадобится знать, сколько раз он решил за вас.

Я посмотрела на него, но он уже читал. Он отпустил меня без проводов, и я поняла, что это тоже нарочно.

— Спокойной ночи, Ренси.

— Спокойной ночи, — ответила я и добавила, потому что иначе было нельзя: — Александр.

Он не поднял головы. Но страницу перевернул не сразу.

Молоко, оставленное Тильдой, давно остыло. Я выпила его прямо из кувшина, и мёд в нём был не липовый.

Книга оказалась ровно такой, как он обещал. Я читала её в постели, поджав ноги к камню Тильды. Только его тепло в этом доме ничего от меня не хотело. На двадцатой странице я перестала понимать слова и положила книгу на грудь.

Я думала о братьях. Младший слышал, как у меня колотится сердце, и делал вид, что не слышит. Старший пересчитывал бутылки и не подходил ближе пяти шагов. Я не знала, кого из них мне будет труднее обмануть. Мне это не нравилось. Я привыкла знать.

Раз уж я взялась рассказывать, не пропуская, то не пропущу и это. Через десять ночей, накануне церемонии, Совет отдаст моему отцу на сутки клинок Арона. С клинка снимут печать, чтобы на церемонии перевязать её на кровь нового правителя. Так положено, так делают уже сто двадцать лет. Отец приедет к тому времени. Он положит клинок на стол, осторожно, как кладёт всё, и не будет знать, что я собираюсь с ним сделать.

Если я умру здесь так, как умерла их мать, в карету на причале следующей посадят Мирабель. Потом Клариссу. Я привезла сюда сундуки, кольцо и двадцать один год выучки. Торговаться мне было нечем.

Пока не было.

Я собиралась взять клинок.

Глава вторая. Закат

Я проснулась от воя.

Свеча давно догорела, и в первую минуту я не могла понять, где лежу. Потолок уходил в темноту так высоко, что его не было видно, перина проседала подо мной, как подтаявший снег, а одеяло давило на грудь тяжело и мягко, будто кто-то положил на меня руку и забыл убрать. Потом пальцы нащупали полотняный переплёт, и я вспомнила всё сразу: причал, карету, зелёную лампу в библиотеке. «Флора северных островов» так и лежала у меня на груди, раскрытая на двадцатой странице. Камень Тильды под одеялом остыл и стал просто камнем.

Вой шёл со стороны скал. Он поднимался медленно, из самой глубины ночи, тянулся, слабел и снова набирал силу, и я успела подумать, что это ветер гудит в трубах. Но ветра не было, занавеси висели неподвижно. Выл кто-то один, и в этом голосе было столько тоски, что у меня свело плечи. Так стонут больные под утро, когда уже не ждут, что кто-нибудь придёт. Потом вой оборвался на высокой ноте, и в тишине стало слышно, как далеко внизу бухта ворочает гальку.

Луна стояла над водой, полная и белая, как вымытая тарелка. Её свет падал в комнату широким прямоугольником, и в этом прямоугольнике на ковре лежали тени оконного переплёта, ровные, как прутья клетки. Одна тень вдруг шевельнулась.

На карнизе, у самого стекла, сидел ворон. Он был огромный, чёрный до синевы, и смотрел на меня круглым глазом, в котором отражалась луна. Я лежала не дыша. Он тоже не двигался, только перья на загривке чуть приподнялись. Мы разглядывали друг друга так долго, что я начала слышать собственное сердце. Потом он расправил крылья, и по комнате, по ковру, по моему одеялу проплыла тень величиной с парус. Птица тяжело ухнула вниз, в темноту, и пропала.

На карнизе осталось перо.

Я встала, хотя ноги не слушались, и открыла окно. В лицо ударил холод, солёный, мокрый, пахнущий водорослями и камнем. Перо было длинное, узкое и ещё тёплое. Я и сама не знаю, зачем его взяла. Наверное, затем, что в моём ремесле ничего не выбрасывают, пока не поймут, что это такое. Я завернула его в клетчатый платок Тильды, сунула в карман шали и долго возилась с задвижкой, которая никак не хотела закрываться. Потом села в кресло у окна, подобрала ноги и стала ждать утра.

Мне очень хотелось, чтобы рядом кто-нибудь был. Сёстры, отец, хоть Тильда со своим грохочущим подносом. Признаваться в этом я не собиралась даже себе.

Утро в этом доме наступало наоборот.

Когда небо над бухтой посерело, внизу началась тихая возня. Хлопали ставни, одна за другой, по всему фасаду, кто-то прошёл по коридору мягкими шагами, щёлкнул замок, и дом стал погружаться в сон, как другие дома погружаются в него к полуночи. Я сидела в кресле и слушала, как он засыпает, а потом и сама задремала, уткнувшись щекой в спинку, и проснулась далеко за полдень, с затёкшей шеей и следом от бархата на щеке.

День здесь был ничей, да и короток он был в эту пору: солнце едва поднималось над бухтой и к трём часам уже клонилось к воде. Его свет пробивался сквозь щели в ставнях тонкими пыльными лезвиями, в коридорах стояла такая тишина, что слышно было, как потрескивают половицы, остывая после ночи. Звать Тильду я не стала. Оделась сама, в серое шерстяное платье, потому что пальцы помнили каждую его пуговицу и не нуждались в помощи, и сама заколола волосы, без зеркала, на ощупь, как делала дома, когда опаздывала к наставницам. Потом снова села у окна с «Флорой» и до вечера читала о мхах и вереске, почти не понимая слов.

Живых, не спящих в этом доме, днём было, кажется, трое: я, повар, который где-то внизу гремел посудой, и чайка на крыше конюшни.

Тильда постучала, когда солнце коснулось воды.

Она вошла спиной, толкая дверь локтем, потому что руки у неё были заняты подносом, обернулась и застыла на пороге. Чайник звякнул о чашку.

— Госпожа! Вы встали! А мама велела до темноты не будить. Я и ждала. Сейчас уже почти темно, значит, можно… Ой, вы одеты. И причёсаны. Кто вас причесал?

— Сама, — сказала я и, не удержавшись, тронула затылок, где одна шпилька, кажется, уже съехала. — Дома я всегда так делала, когда опаздывала к наставницам. Они говорили, что у меня на голове воронье гнездо, но гнездо держалось до самого вечера.

Она посмотрела на мой затылок с упрёком, как на чужую работу.

— Я бы лучше сделала.

— Завтра сделаешь, — пообещала я. — Поставь чай, пока он цел.

Тильда кивнула, подошла и поставила, но чашка тут же поехала по подносу к краю. Я поймала её за ручку, и мы обе засмеялись, тихо, виновато, как смеются над одной и той же неловкостью. От этого смеха мне впервые за сутки стало тепло.

— Я сегодня хотела быть изящной, — вздохнула Тильда. — Вчера вам пришлось ловить кувшин, и я подумала, что сегодня уж точно…

— А сегодня чашку. Это уже традиция.

Она ещё улыбалась, когда подняла на меня глаза, и улыбка вдруг сошла с её лица. Взгляд стал внимательным, цепким, совсем не девичьим. Так её мать, должно быть, оглядывает бельё, прежде чем убрать его в шкаф.

— Вы не спали.

— Меня разбудил вой, — сказала я и сама удивилась, как спокойно это прозвучало. Ночью мне казалось, что я не смогу произнести этого вслух. — Где-то со стороны скал. Долгий такой, тоскливый, как плач.

— Вой? — Тильда моргнула. — Какой вой? Я не слышала. Я же чутко сплю, мама говорит, я слышу, как мыши в подвале думают. А воя не было.

Она сказала это просто, без тени страха, наливая мне чай, и от её спокойствия у меня по спине прошёл холод сильнее ночного.

Я отвернулась к окну. Внизу, в синих сумерках, дом просыпался. Одно за другим загорались окна первого этажа, жёлтые квадраты ложились на гравий, где-то хлопнула дверь, и снизу донёсся высокий женский голос, бранивший кого-то за пролитую воду. Кучер вывел во двор вороную лошадь, и она фыркала, мотая головой, и от её дыхания поднимался пар. Обычная вечерняя суета, какая бывает в любом большом доме, только начиналась она тогда, когда другие дома гасят свечи.

— У нас в порту говорят, если плохую ночь рассказать окну, она больше не придёт, — сказала Тильда у меня за спиной. — Мама так всегда делала.

— И помогало?

— Не знаю, — честно ответила она. — Но потом она варила суп, и все так наедались, что про ночь забывали.

Я засмеялась снова. И, глядя на тёмную воду, вполголоса рассказала стеклу про вой, как маленькая. Про ворона не сказала. Перо лежало у меня в кармане, завёрнутое в Тильдин платок, и я чувствовала его сквозь шерсть, лёгкое, почти невесомое.

— Ой, — спохватилась Тильда, когда я допила чай. — Господин Валериан просит вас к себе, как будете готовы. Надо было сразу сказать, но вы смеялись. А мама говорит, смеющегося перебивать нельзя. Это как молитва, только наоборот…

— Ты правильно сделала, что подождала.

Она просияла и, уходя, зацепилась носком за край ковра.

При свете газовых рожков коридоры выглядели иначе, чем ночью. Они не стали веселее, но в них появилась жизнь, усталая, неторопливая, как у человека, который проснулся не выспавшись. На дорожках не было ни соринки, у зеркал стояли в горшках гиацинты, выгнанные в оранжерее к празднику, а откуда-то снизу тянуло кофе, и этот запах, такой простой и такой человеческий, заставил меня сбавить шаг. Я шла и думала, кто здесь пьёт кофе, и пьёт ли его кто-нибудь вообще, или его варят по привычке, как ставят цветы в комнатах, где никто не живёт.

Дамиан ждал у кабинета отца.

Он стоял, прислонившись плечом к стене, в тёмном сюртуке и белой рубашке с расстёгнутым воротом, и, когда повернул голову, серебряный крестик у него в ухе поймал огонь рожка. Его пальто я оставила в комнате, аккуратно сложив на кресле, и теперь пожалела об этом. Без тяжёлой чужой шерсти на плечах я чувствовала себя почти раздетой.

— Лоренсия. — Лицо его посветлело. — Вы выглядите…

Он запнулся, и я увидела, как он перебирает слова, одно вежливее другого, и ни одно не годится. Меня учили щадить чужую неловкость, но сегодня на это не было сил.

— Плохо, — подсказала я. — Можете сказать это вслух. Я причёсывалась без зеркала, на ощупь, но догадываюсь, что вышло.

— Я хотел сказать «бледной». — Угол его рта дрогнул. — Но в этом доме такой комплимент звучит двусмысленно.

Я невольно улыбнулась. Он умел одной фразой повернуть разговор так, что неловкость оборачивалась шуткой. Наставницы называли это «уводить разговор» и учили замечать.

— Вы всегда так тщательно подбираете слова?

— Только когда боюсь. — Он помолчал, разглядывая моё лицо, и улыбка его погасла. — Вы ведь совсем не спали.

Отпираться было глупо. Тени под глазами у меня, наверное, вышли такие, что их заметил бы и слепой, а Дамиан замечал куда больше, чем показывал.

— Почти не спала, — призналась я. — Задремала в кресле, когда у вас тут начали закрывать ставни. Странно засыпать на рассвете вместе со всем домом. Как будто живёшь в часах, которые идут задом наперёд.

— Привыкнете, — сказал он мягко и тут же, понизив голос, спросил: — А ночью… Я слышал вой. Под утро. Вы тоже?

Он задал этот вопрос так осторожно, с такой опаской в глазах, что я насторожилась. Так спрашивают, когда боятся услышать ответ.

Я помедлила. Ночь снова встала у меня перед глазами, белая луна, ворон на карнизе, перо, тёплое, как живое. Рассказывать о нём я не собиралась никому, и уж тем более ему, пока не пойму, почему он так на меня смотрит.

— Слышала, — сказала я как можно ровнее. — От него и проснулась. Сначала решила, что ветер гудит в трубах, но ветра не было, занавески даже не шелохнулись. Что это было, Дамиан?

— Ничего страшного. Старик Бьорн с западной стороны держит собак. Они воют на луну, когда она полная.

Ответ пришёл слишком быстро, гладкий, как речная галька, ни одной зазубрины. Я ничего не сказала, и Дамиан, кажется, понял, что молчу я не просто так. Он опустил глаза, а потом протянул мне руку ладонью вверх, как протягивают, когда не смеют настаивать.

— Отец ждёт. Не бойтесь его, он мягче, чем кажется.

— А каким он кажется?

— Страшным. — Он чуть улыбнулся. — Это у нас семейное. Все мы мягче, чем кажемся. Кроме тех случаев, когда нет.

Руки его я не приняла. Он, похоже, этого и ждал и не обиделся. Но, отворяя передо мной дверь, оказался так близко, что от него потянуло холодом, как из погреба в жаркий день, и я на мгновение забыла, куда иду и зачем.

Кабинет Валериана Морвейна был совсем не таким, каким я рисовала его себе ночью. Я ждала сумрачного зала с гербами, скрещённых мечей над камином, чёрного дуба и тяжёлого бархата. А попала в небольшую комнату, где всё было устроено для работы и для одиночества. Длинный стол, заваленный бумагами и придавленный вместо пресс-папье куском серого гранита. Глубокое кресло с продавленным сиденьем. Одно-единственное окно, но огромное, от пола почти до потолка, и за ним бухта, в которой уже зажигались огни. Пахло чернилами, табаком и сургучом. На подоконнике лежала раскрытая книга, и поперёк страниц покоилась погасшая трубка.

Хозяин стоял у окна спиной к двери.

— Госпожа Лоренсия, — произнёс он, не оборачиваясь. — Позвольте мне ещё минуту. Каждый вечер я смотрю, как темнеет бухта и зажигаются огни, и каждый раз мне кажется, что вижу это впервые. В моём возрасте, сударыня, это единственная роскошь, которую нельзя ни купить, ни отнять.

Голос у него был низкий, с хрипотцой, какая бывает у людей, много говоривших и мало услышанных. Я ждала на пороге. Дамиан у меня за спиной тоже ждал, и я слышала, как он дышит, ровно и неглубоко, хотя дыхание было ему ни к чему.

Наконец Валериан обернулся.

Я знала, что ему без малого двести лет, но выглядел он на пятьдесят. Высокий, широкий в плечах, с густой серебряной гривой, зачёсанной назад, и лицом, которое когда-то, наверное, сводило женщин с ума, а теперь только помнило об этом. Глаза у него были серые, усталые, в красных прожилках, и в них стояла вина. Не печаль и не раскаяние, а именно вина, давняя, слежавшаяся, как осадок на дне бутылки, которую много лет никто не решается допить.

— Вы похожи на отца, — сказал он.

— Вы его знали? — вырвалось у меня раньше, чем я успела подумать, прилично ли так спрашивать. Отец никогда не рассказывал мне о Морвейнах ничего сверх того, что значилось в договоре, и мне вдруг жадно захотелось услышать, каким его видят чужие люди.

— Мы переписывались двадцать лет. Ваш отец пишет письма, которые хочется перечитывать, и счета, которые не хочется оплачивать. — Он помолчал. — Такой человек не мог вырастить дочь, которая боится. Я прав?

Я выпрямилась. Он спросил мягко, но я слишком хорошо знала, как проверяют на прочность, и не собиралась показывать, что под рёбрами у меня до сих пор холодно после ночи.

— Я приехала, — ответила я. — Одна, через туман, к людям, которых никогда не видела. По-моему, это и есть ответ.

— Это ответ на другой вопрос. — Но он улыбнулся, и плечи у меня, сведённые с самого причала, впервые немного опустились. — Садитесь, прошу вас. Дамиан, останься.

Я села на краешек стула, выпрямив спину, как учили, и через минуту обнаружила, что пальцы сами отыскали отцовское кольцо и вертят его, вертят без остановки. Я заставила руку лечь на колено. Валериан это видел. Я поняла это по тому, как дрогнули его брови, но он ничего не сказал.

— Вчера вы смотрели на часы в холле, — начал он. — Все смотрят. Новые люди всегда сначала смотрят на часы, а уж потом на нас.

— Дамиан сказал, что вы объясните лучше него, — ответила я и покосилась на Дамиана. Мне было любопытно, как он выкрутится.

Валериан коротко взглянул на сына. Дамиан выдержал этот взгляд и не отвёл глаз.

— Объясню, раз уж он так сказал. — Валериан подошёл к столу и тяжело опёрся на него обеими ладонями. Руки у него были большие, красивые, с выступившими венами, руки

человека, который когда-то держал ими не только перо. — Левые часы я остановил в ту минуту, когда родился Александр. Правые через семь минут, когда родился Дамиан. А потом велел завести их снова и никогда не сверять. Моя жена ещё дышала, когда я это делал. Мне казалось, я запоминаю самое счастливое мгновение своей жизни. А я, оказывается, отмерял ей время.

В комнате стало так тихо, что я услышала, как в камине оседает зола. Дамиан у двери стоял неподвижно, и лицо у него было белее рубашки.

— Сто двадцать лет держится договор, и тридцать лет идут эти часы, — проговорил Валериан. — Иногда я не знаю, что из двух держит этот дом крепче. Простите старика. Мы любим говорить загадками, потому что прямые ответы у нас давно кончились.

Я не сразу смогла заговорить. Перед глазами стояли те двое часов в холле, одинаковые, как близнецы, и я подумала, что теперь каждый раз, проходя мимо, буду слышать, как они отсчитывают чужую смерть.

— Это был прямой ответ, — сказала я тихо. — Самый прямой из всех, что мне здесь давали.

Он посмотрел на меня пристальнее, чем прежде.

— Да. Пожалуй, вы правы. — Он опустился в кресло, и кресло жалобно скрипнуло. — Как вам наш дом?

Я замялась. Что сказать о доме, где пахнет только холодным камнем, где днём не слышно ни одного голоса, а в галерее висит пустое место вместо портрета? Правду говорить было нельзя, а лгать этому усталому человеку почему-то не хотелось.

— Он большой, — сказала я наконец. Вышло беспомощно. — Я ещё не запомнила, какая лестница куда ведёт. Мне кажется, их тут больше, чем комнат.

— Он слишком большой. Мой дед строил его для семьи, которой так и не случилось. Мы заселили его тишиной, она здесь лучшая квартирантка, никогда не съезжает. — Он помолчал. — Но я хочу, чтобы вы знали, что вам здесь рады. Не потому, что того требует договор. Просто этот дом давно не слышал, как в нём смеются.

— Тильда смеётся, — сказала я, и от одной мысли о ней мне стало легче. — Сегодня она чуть не опрокинула на меня чайник и хохотала так заразительно, что я тоже не удержалась.

— Тильда, — повторил он, и лицо его смягчилось. — Дочь Агаты. Я хорошо помню её мать, когда та приехала к нам девчонкой служить моей жене. Агата была Исольде ближе сестры, насколько это возможно между госпожой и горничной. Она единственная в этом доме, кто меня не боится.

— А Тильда боится, — сказала я и тут же пожалела, что выдала её. Но слово уже прозвучало, и я только добавила, смягчая: — Вчера она весь вечер не выпускала из пальцев свой крестик.

— Тильда боится моих сыновей. Это совсем другое.

Я посмотрела на Дамиана. Он стоял у двери, опустив глаза, и молчал, как молчат, когда тебя упрекнули несправедливо, а оправдываться не положено. Валериан не обернулся к нему. То ли не заметил, то ли не захотел замечать.

— Я хотел поговорить с вами до церемонии, — продолжал он, сложив руки на столе. — Не как глава рода с невестой. Как человек, который в долгу перед вашей семьёй. Я видел, как ваш отец отпускал вас, не отпуская. Понимаете, о чём я?

Я понимала. Я слишком хорошо помнила, как отец стоял на пристани, сцепив руки за спиной, и смотрел не на меня, а на ящики, потому что на меня смотреть не мог. Горло сжалось, и на большее, чем одно слово, меня не хватило.

— Да.

— И говорить об этом не хотите.

— Не хочу, — сказала я и посмотрела ему в глаза, чтобы он понял, что дело не в дурных манерах. — Если я начну, то уже не остановлюсь, а мне ещё нужно выйти из этого кабинета с сухим лицом.

Он медленно кивнул, и в этом кивке было больше понимания, чем я ожидала.

— Тогда скажу о другом. — Он помедлил, подбирая слова. — У нашего рода есть поверье, старое, как сам род. Мы называем его выбором крови. Когда рождаются наследники, кровь выбирает одного из них. Не сильнейшего и не достойнейшего, а того, кого род готов принять. Я долго думал, что это одно и то же. Понял разницу слишком поздно, и это понимание обошлось мне дороже всего, что у меня было.

— Отец, — негромко сказал Дамиан.

— Знаю. — Валериан не повернул головы. — Я умолкаю.

Всего одно слово и короткий ответ. Но Дамиан смотрел на отца так, как смотрят на сообщника, с которым вместе несут что-то тяжёлое и не могут ни бросить, ни показать другим. Я отметила этот взгляд и спрятала его поглубже, туда, где у меня копилось всё непонятое. За неполные два дня там стало тесно.

— Вы устали, — сказал Валериан, снова обращаясь ко мне. — Дамиан говорит, вы почти не спали.

— Он преувеличивает, — сказала я и бросила на Дамиана быстрый взгляд. Откуда ему знать, спала я или нет? Его комната в том же коридоре, третья по счёту. Он слышал, как я хожу по ночам? Или опять стоял под дверью, как вчера? От этой мысли мне стало не по себе и почему-то тепло.

— Он беспокоится. Это его особый талант, беспокоиться о том, о чём не должен. — В голосе его прозвучала нежность пополам с горечью. — Береги её, сын. Я не прошу. Я напоминаю.

— Я помню, отец.

— Знаю, что помнишь.

«Береги её». Я повторила эти слова про себя, потом ещё раз, и с каждым разом они нравились мне всё меньше.

Так не говорят деверю. Так говорят жениху.

А моим женихом был Александр. Это знали все, от наставниц в ковене до грузчиков на причале. В договоре, который я выучила наизусть раньше, чем таблицу трав, стояло «старший сын главы рода», и отец, провожая меня, ни разу не назвал другого имени. Александр старше на семь минут. Александр готовит бумаги для Совета. Через десять дней Совет утвердит его главой Морвейнов, и в тот же вечер меня объявят его невестой перед всем Советом. Так было решено задолго до того, как я научилась читать, и никто никогда не говорил мне, что может быть иначе.

Почему же тогда меня встречал Дамиан? Почему это ему отец велел проследить, чтобы мне было тепло, ему выбирать мне комнату и суп, а теперь и беречь меня, как берегут то, что тебе вверили?

Я перебирала объяснения, как перебирают сухие травы, отбрасывая негодные. Александр занят, у него Совет, ему не до гостей. Дамиан мягче, он лучше умеет с людьми, его и посылают туда, где нужна мягкость. Может быть, у Морвейнов так принято, и младший брат опекает невесту старшего до свадьбы, а мне просто забыли об этом сказать. Объяснения были гладкие и разумные, и ни одно не цеплялось за другое. А под ними, на самом дне, лежала мысль, которую я не позволила себе додумать. Валериан только что говорил о выборе крови, о том, что кровь выбирает не сильнейшего. И Дамиан остановил его на полуслове.

Я сжала кольцо так, что камень врезался в ладонь, и заставила себя улыбнуться. Если бы я спросила вслух, мне бы ответили. Только вряд ли правду.

И снова они переглянулись, быстро и коротко, и снова не договорили. Валериан поднялся, давая понять, что разговор окончен, и подошёл к окну. Я встала и из вежливости подошла следом. Отсюда, сверху, видна была не только бухта. Внизу, сбоку от дома, лежал мощёный двор у конюшен, и над ним горели два фонаря.

Во дворе стоял Александр.

Он был без пальто, в одном сюртуке, но в перчатках, и свет фонаря делал его пепельные волосы почти белыми. Перед ним, комкая в руках шапку, стоял человек в клеёнчатом плаще. Сначала я приняла его за одного из тех, что вчера везли мои сундуки, но он поднял лицо, и я узнала разбитую бровь. Это он вчера на причале задел углом ящик. Чуть поодаль переминался с ноги на ногу широкий седой конюх.

Рама была приоткрыта, и голоса поднимались к нам вместе с холодом.

— …мокрый был, господин, — говорил рабочий, и голос у него срывался. — Выскользнул. Двадцать лет таскаю, ни одного не уронил…

— Вы уронили его при чужих. — Александр говорил негромко и ровно, как читают вслух опись. — Утренним пароходом. Расчёт получите на материке.

— Господин, у меня дочь в нижнем городе. Туман-то… я ж обратно дороги не найду.

— Не найдёте. Туман за вами закроется. В этом и смысл.

Рабочий опустился на колени прямо на мокрые камни. Александр не повторил ни слова и не стал ждать, пока тот поднимется. Он повернулся и пошёл к дому, а конюх подхватил рабочего под мышки, поставил на ноги и повёл к воротам, что-то вполголоса ему втолковывая.

У самой двери Александр вдруг поднял голову и посмотрел прямо на наше окно. На меня. Он не кивнул, не отвёл глаз, лицо его не изменилось ни на волос. Так смотрят на предмет, который стоит не на своём месте. Потом дверь за ним закрылась.

— Ящик разбили при вас, — сказал за моей спиной Валериан. — При дочери главы ковена, в первый же час, у всего причала на глазах. Ваш ковен и без того урезает поставки. Теперь у него есть свидетель того, что мы сами льём кровь на мостовую. И того, что мой сын не может спокойно на неё смотреть.

Он не обернулся к Дамиану, но я услышала, как тот перестал дышать.

— Об этом доложат в Совет, — продолжал Валериан. — В Совете поставками ведает господин Торн, а он всегда спрашивает, кто виноват. По договору за разбитую печать кто-то должен ответить. Мой сын решил, кто, раньше, чем Совет успел спросить. — Валериан помолчал. — Туман за этим человеком закроется, и через год он сам не будет уверен, что Хельвик ему не приснился. Совету будет некого спрашивать. Мой старший сын видит дальше, чем мне хотелось бы.

Я поняла, и от этого стало только хуже. Жестокость без причины можно презирать. А у этой причина была, разумная, холодная и правильная, и рабочий с разбитой бровью всё равно больше не увидит свою дочь.

Больше он ничего не прибавил, и Дамиан ничего не сказал, и я поняла, что меня отпускают. Я поклонилась и вышла одна. Дамиан остался в кабинете с отцом, и дверь за мной затворилась тихо, без щелчка.

«Он ни разу никого не уволил, — шептала мне вчера Тильда, расчёсывая мои волосы. — Я проверяла».

Значит, проверяла плохо. Или сегодня он сделал это впервые, и сделал из-за меня, из-за того треснувшего ящика, у которого я стояла. Я не знала, что из этого хуже. Я шла по коридору, не разбирая дороги, и щёки у меня горели так, будто я сама стояла на коленях на тех мокрых камнях. И больше всего меня пугало не лицо рабочего, а то, что взгляд Александра, холодный и пустой, я до сих пор чувствовала на себе, как прикосновение.

Коридор кончился стеклянной дверью, и за ней оказался зимний сад.

Я толкнула её, не думая, просто потому, что за стеклом было зелено, и сразу окунулась в тёплый влажный воздух, пахнущий прелой землёй и чем-то цитрусовым. Под стеклянным сводом, по которому снаружи сползал и таял мокрый снег, теснились кадки с пальмами, папоротники в человеческий рост, какие-то вьющиеся растения с глянцевыми листьями, названий которых я не знала и от этого почувствовала себя совсем чужой. В углу, в зелёной кадке, стояло лимонное деревце. Оно было старое, кривое, с потрескавшейся корой, и на нём висели мелкие неровные лимоны, жёлтые, как огоньки. Я подошла и стала его разглядывать. Если бы здесь, на краю света, росла хоть одна знакомая мне травинка, мне, наверное, стало бы легче дышать.

— Это очень старый лимон, — раздался у меня за спиной женский голос. — Мой брат привёз его ещё мальчиком, и все в один голос твердили, что он не приживётся. А он вот живёт. Назло.

Я обернулась.

Передо мной стояла высокая женщина, на вид лет сорока, прямая и тонкая, как свеча, в платье цвета спелой сливы с высоким воротом, застёгнутым под самое горло. Тяжёлый узел чёрных волос у висков был тронут серебром. Лицо у неё было удлинённое, точёное, белое, как церковный мрамор, с высокими скулами и узким прямым носом, и такое неподвижное, что в первое мгновение мне почудилось, будто среди пальм поставили статую и нарядили её в шёлк. Ни морщинки, ни тени улыбки. Только тёмные глаза под тяжёлыми веками разглядывали меня спокойно и холодно, как разглядывают товар на прилавке. От неё пахло ванилью, а под ванилью чем-то горьким, похожим на кору.

Я невольно выпрямилась, как выпрямлялась в детстве перед старшей наставницей, и спина у меня снова стала деревянной.

— Госпожа Серафина, — сказала я и присела в поклоне.

А потом статуя заговорила.

— Не надо, душа моя, не надо! — Она замахала на меня длинными белыми руками, и браслеты на её запястьях зазвенели. — Какая я тебе госпожа? Тётя. Просто тётя. Ты ведь будешь нашей. Да что я говорю, ты уже наша. Ну-ка, иди сюда, дай я на тебя посмотрю.

Голос у неё оказался тёплый, грудной, певучий, совсем не подходящий к этому лицу. С первым же словом мрамор ожил. Губы сложились в мягкую улыбку, у глаз собрались смешливые морщинки, и в тёмных глазах зажглось жадное, тёплое любопытство, какое бывает у людей, больше всего на свете любящих слушать. Я и опомниться не успела, как мне уже казалось, что эта женщина знает меня с колыбели. Но та, первая, каменная, всё ещё стояла у меня перед глазами, и я никак не могла решить, которая из двух настоящая.

Она взяла меня за обе руки и повернула к свету лампы. Ладони у неё были тёплые и чуть влажные, совсем живые. Я отметила это невольно, по привычке. У вампиров руки бывают очень разные, нас этому учили.

— Красавица. Какая серьёзная красавица. Двадцать один год? Господи, совсем девочка, а глаза такие, будто всё уже про всех знает… Нет-нет, не отвечай, я и так вижу. Ты похожа на мать. Ты знала, что я встречала твою мать?

— Нет, — сказала я, и сердце у меня ёкнуло и забилось чаще. О матери мне почти никто не рассказывал. Отец замолкал, наставницы поджимали губы, и я давно привыкла думать о ней как о пустом месте на стене, вроде той рамы в галерее.

— Давно, задолго до твоего рождения. У неё были такие же руки. — Она улыбнулась, не выпуская моих пальцев. — Ты всё время что-то крутишь. Колечко. Я ещё с галереи заметила, пока ты тут у лимона стояла.

Я опустила глаза. Пальцы мои и правда снова лежали на кольце.

— Привычка, — сказала я и спрятала руку в складки юбки. Мне не понравилось, что за мной наблюдали, пока я думала, что одна. — С детства. Наставницы били меня за неё линейкой по пальцам, но так и не отучили.

— Милая привычка. Я в детстве всё вертела пуговицу на платье, пока не открутила совсем, и мне за это крепко досталось. А у тебя колечко, это изящнее. Зелёный камень. Ковенское?

— Отцовское, — ответила я и сама услышала, как потеплел голос. — Он подарил его мне в тот день, когда я впервые сама сварила мазь от ожогов и никого ею не отравила.

— Ах, отцовское…

Она вздохнула так мягко, так по-матерински, что мне на мгновение захотелось уткнуться ей в плечо и рассказать всё, что накопилось за эти три дня. Именно поэтому я не рассказала ей ничего.

— Ты, верно, озябла и проголодалась, — решила Серафина и, не дожидаясь ответа, дёрнула шнурок звонка у входа. — Сейчас будет чай. Садись, душа моя, вот сюда, под пальму, здесь не дует.

Чай принесла Тильда. Она вошла в сад, увидела нас, дёрнулась, и сахарница соскользнула с подноса. Она ударилась о каменные плиты, крышка отлетела в сторону, и сахар рассыпался по полу белым веером. Лакей, стоявший у дверей, зашипел на Тильду сквозь зубы, но Серафина обернулась быстрее.

— Оставь девочку, Петер. — Голос её ничуть не изменился, остался таким же сладким, но лакей отступил на шаг. — Я в её годы перебила половину маминого сервиза, и ничего, выросла. Тильда, деточка, неси поднос сюда, а сахар пусть подбирают мыши. Им тоже надо как-то жить.

Пунцовая Тильда поставила поднос на столик, и Серафина, не глядя, вложила ей в ладонь марципановую конфету из вазочки. Тильда сжала конфету в кулаке бережно, как орден, и у двери обернулась на нас с таким лицом, что я поняла, она будет помнить эту конфету до самого Рождества и ещё долго после.

— Бедный ребёнок, — сказала Серафина, разливая чай. — Её все гоняют, а она лучше всех в этом доме. Она хотя бы не притворяется.

Дверь в сад снова отворилась, и вошёл Дамиан. Он остановился у порога, среди папоротников, и не решался подойти, но Серафина уже увидела его.

— А вот и мой мальчик! Отец тебя отпустил? Иди, иди сюда, не стой там, как сирота у чужой калитки.

Он подошёл, и она, положив ладонь ему на затылок, наклонила к себе его голову и поцеловала в лоб, как целуют маленьких. Ростом она была почти с него, и он покорился, хотя я заметила, как напряглись у него плечи.

— Ты опять не ел?

— Ел, тётя.

— Врёшь. Садись.

За чаем она расспросила меня обо всём на свете. О порте, о ковене, о том, что у нас сажают в ящиках на подоконниках. Как зовут моих сестёр, сколько им лет, любят ли они сладкое и есть ли у них женихи. Она смеялась там, где следовало смеяться, ахала там, где следовало ахать, а когда я обмолвилась о матери, которую почти не помнила, накрыла мою руку своей тёплой ладонью и сказала: «Ну-ну, душа моя, не надо, не надо». И я правда остановилась на полуслове, как гасят свечу двумя пальцами, и я сама этого не заметила.

— А когда приедет твой отец? — спросила она, подкладывая мне на блюдце печенье. — Хочу встретить его как следует. С дороги человеку нужно тепло.

Ответ я знала. Отец приплывёт на нашем, ковенском судне в ночь перед обрядом, и знали об этом только он сам, я и Совет. Я неторопливо отпила глоток.

— Почтовым пароходом, — сказала я. — За два дня до церемонии. Он не любит наших судов, его на них укачивает.

Отца не укачивало ни разу в жизни. Он ходил в море с тех пор, как научился стоять на ногах, и в шторм спал в гамаке так же крепко, как дома в постели.

— Почтовым! — всплеснула руками Серафина. — Бедный! Там же кормят одной солониной. Я велю сварить ему бульон, чтобы ждал прямо на причале.

Она сказала это так искренне, что мне на миг стало стыдно, и щёки потеплели. Но стыд прошёл быстро. Если теперь кто-нибудь в этом доме или за его стенами заговорит со мной о почтовом пароходе, я буду знать, от кого он это услышал.

— А жених твой как? — вдруг спросила Серафина.

— Ваш племянник? — переспросила я. — Который из двух?

Чашка в её руке не дрогнула. А Дамиан, сидевший рядом со мной, застыл, не донеся свой бокал до губ.

— Ах, милая, — протянула Серафина. — Ты же приехала к Александру. Так написал твой отец. Только ты его, верно, ещё и не видела толком. Он занят, мой мальчик, очень занят, бумаги для Совета, сама понимаешь…

— Я видела его вчера в библиотеке, — сказала я. — И сегодня во дворе.

Я сказала это нарочно, чтобы посмотреть, как она отзовётся. Перед глазами снова встал человек на коленях на мокрых камнях.

— Правда? — Она так и подалась вперёд. — И как он тебе?

Я хотела ответить коротко и сухо. Сказать, что он прям, или что он непонятен, или что он жесток. А сказала:

— Он дал мне книгу.

Дамиан поднял на меня глаза, быстро и остро, и тут же опустил ресницы. Серафина улыбнулась так нежно и понимающе, что мне захотелось взять свои слова обратно.

— Книги у него вместо слов, — сказала она. — Весь в мать. Исольда тоже всё говорила книгами. Что не могла сказать вслух, то клала на подушку, раскрытой на нужной странице. — Она поставила чашку и посмотрела на Дамиана с такой жалостью, что тот отвернулся к папоротникам. — Не сердись, мальчик. Ты на неё не похож, ты в отца пошёл. В этом нет ничего дурного. Просто так уж вышло.

Дамиан ничего не ответил. Только под столом его рука сжалась на колене, и я услышала, как затрещала ткань.

— Мужчины в нашей семье, — сказала Серафина мне, как ни в чём не бывало, — из всего делают трагедию. Ты их не слушай. Ты слушай сердце. Сердце никогда не обманывает. Правда, Дамиан?

— Правда, тётя, — глухо ответил он.

Я так и не поняла, ударила она его нарочно или просто сболтнула лишнее, как болтают все тётушки на свете, которые слишком долго живут и слишком много помнят. Пока она говорила, лицо у неё было доброе и мягкое. Но стоило ей замолчать и задуматься, оно снова застывало, белое, гладкое, неподвижное, и я ловила себя на том, что жду, когда она заговорит опять. Больше ничего наверняка я о ней сказать не могла.

Когда Серафина наконец отпустила нас, взяв с меня слово завтра прийти к ней смотреть кружева, я пожелала Дамиану доброго вечера и пошла не наверх, а куда глаза глядят. Мне нужно было побыть там, где ни о чём не расспрашивают. Сладкий запах ванили ещё держался в волосах, и от него немного мутило.

В конце коридора за неприметной дверью обнаружилась чёрная лестница, узкая, крутая, с вытертыми до блеска ступенями. Оттуда тянуло дымом, луком и мокрым деревом, тянуло

жильём, и я пошла на этот запах, держась рукой за холодную стену. На повороте я услышала, что внизу кто-то поёт.

Тихо, вполголоса, на нашем наречии.

Я остановилась так резко, что чуть не оступилась. Это была колыбельная нашего порта, та самая, про рыбака, которого забрало море, про его жену, вышедшую на берег с лампой, и про лампу, которую с тех пор никто не гасит. Мне пели её в ковене, когда я была маленькой, а потом я выросла и постеснялась просить.

Я спустилась на голос.

Кухня оказалась огромной, со сводчатым потолком, закопчённым до черноты. Вдоль стен висели медные кастрюли, начищенные так, что в каждой дрожал маленький огонь очага, а в самом очаге трещали берёзовые поленья, и от их треска, от жара, от запаха свежего теста у меня защипало в носу. У стола, спиной ко мне, стояла женщина и месила тесто, мощно, мерно, всем телом, не прерывая песни. Широкая спина, крепкие руки в муке по локоть, русая коса с проседью, уложенная на затылке. На поясе позвякивала связка ключей.

Я стояла в дверях и ждала, пока она допоёт. Когда песня кончилась, женщина обернулась, вытирая руки о фартук, и мы посмотрели друг на друга.

— Здравствуйте, госпожа, — сказала Агата.

Выговор у неё был тот самый. Мягкий, певучий, с протяжными гласными, с придыханием в конце слов. Так говорили на нашей набережной старухи, торговавшие рыбой, и так говорила моя кормилица.

— Здравствуйте, Агата, — ответила я на нашем наречии. — Я пришла на песню.

Она замерла с полотенцем в руках. Потом покачала головой, и серые её глаза заблестели.

— Вот ведь, — сказала она. — Вот ведь как оно. А я думала, вы после такой ночи до темноты проспите. Тильда говорила, вам худо.

— Тильда преувеличивает, — сказала я, но голос у меня дрогнул. От этого «худо», сказанного по-нашему, мне вдруг стало так жалко себя, как не было жалко за всю ночь.

— Тильда вас любит. С утра не уймётся. «Мама, она такая добрая, мама, она надо мной не смеялась». Дурёха моя. — Агата провела тыльной стороной ладони по глазам и оставила на щеке белую полосу муки. — Садитесь. Накормлю.

— Я пила чай у госпожи Серафины, — возразила я без особой уверенности. Печенье у Серафины было рассыпчатое и приторно сладкое, и от него до сих пор першило в горле.

— Чай, — повторила Агата, и по одному этому слову я поняла всё, что она думает о чае у госпожи Серафины. — Садитесь.

Я села на высокий табурет у стола. Агата поставила передо мной глиняную миску густой ячневой каши, в середине которой медленно таял кусок жёлтого масла, и отрезала от каравая два толстых ломтя. Каша пахла так же, как пахла дома, в ковенской кухне, зимними утрами, когда за окном ещё темно и наставница стучит в дверь. Я зачерпнула первую ложку и поняла, что плачу. Беззвучно, не всхлипывая, продолжая есть, как плачут люди, у которых на слёзы нет ни времени, ни права.

Агата не сказала ни слова. Отвернулась к очагу и долго гремела там крышками, пока я не доела и не вытерла лицо. Лучшей помощи мне в жизни никто не оказывал.

— Спасибо, — сказала я наконец. Слово вышло хриплым, и я откашлялась. — За кашу. И за то, что не смотрели.

— Не за что.

— Вы знали, что я приду, и сварили именно такую?

— Нет, — призналась она. — Я её каждый день варю. Господа не едят, а мне без неё утро не утро. Вот и пришлась к месту.

В очаге треснуло полено, и сноп искр взлетел в трубу.

— Агата, вы давно служите в этом доме?

— Тридцать два года. Приехала, ещё косу не подбирала.

— Значит, вы знали госпожу Исольду.

Она не обернулась. Но спина её на мгновение стала прямой и твёрдой, как доска.

— Знала.

— Какая она была?

— Добрая. Слишком добрая, может, для этого дома. — Агата вытерла руки, подошла и тяжело опустилась на табурет напротив меня. — Госпожа, я вам скажу не как служанка. Как землячка скажу. Не спрашивайте меня сейчас. Я расскажу, всё расскажу, обещаю. Только не здесь и не сегодня. Здесь у стен уши, а у ушей языки.

— Здесь кто-то желает зла?

— Зла никто не желает. Любопытствуют. У нас в порту говорят, сеть рыбе зла не желает, а рыба всё равно в ней.

Она смотрела на меня прямо, не мигая, и в её глазах была такая простая, такая домашняя тревога, что я кивнула раньше, чем успела решить.

— Хорошо, — сказала я. Мне хотелось спорить, хотелось вцепиться в её рукав и потребовать всё сейчас же, но я знала этот тон. Так у нас в порту говорят, когда решение принято и уговаривать бесполезно. — Я подожду. Только не слишком долго, Агата. До церемонии одиннадцать дней. Уже десять.

— Вот и умница. Мама ваша такая же была, понятливая.

— Вы знали мою мать?

— Да её весь порт знал. — Агата улыбнулась, и лицо её сразу помолодело. — Ещё до вашего рождения она моему Гансу ногу вправила, когда его на причале бочкой придавило. Мы с ним тогда только сговорились. Она так строго говорила про кости, что мы все слушали, как в церкви. — Улыбка её погасла. — Вы на неё похожи. Только она бояться не умела, а вы умеете. Оно и к лучшему. Кто не боится, тот до старости не доживает.

Я хотела спросить, что она имеет в виду. Но вспомнила ночной вой, и ворона на карнизе, и перо у себя в кармане, и спросила совсем о другом.

— Агата, в доме держат собак?

— Собак? — Она нахмурилась. — Нет. Господин Валериан их не любит. Говорит, чуют лишнее.

— А у соседей? У старика Бьорна с западной стороны?

— Нет там никакого Бьорна, — медленно сказала Агата. — Тридцать два года тут живу, ни одного Бьорна не знаю. С западной стороны одни скалы да море.

Я кивнула спокойно и вежливо, как кивают, когда услышали ровно то, что ожидали. Положила ложку в пустую миску, поблагодарила ещё раз и пошла к лестнице, не торопясь, с прямой спиной. И только на втором пролёте, где меня уже не могли видеть из кухни, остановилась и прислонилась к стене.

Дамиан солгал мне. Солгал мягко, гладко, глядя прямо в глаза, так, как лгут, когда боятся вовсе не за себя. Я могла бы сегодня же постучать в его дверь, третью по коридору, и сказать, что знаю. Он побледнел бы ещё сильнее, извинился бы, может быть, даже объяснил. И я узнала бы ровно столько, сколько он сам решил бы мне рассказать.

А могла промолчать. Пусть думает, что я поверила. Пусть лжёт и дальше, и по тому, где он солжёт в следующий раз, я пойму, чего он боится.

Наставницы называли это «держать карту в рукаве». Отец говорил проще и грубее: не трать того, что ещё пригодится.

Я оттолкнулась от стены и пошла наверх, и больше уже не останавливалась.

К ночи дом проснулся окончательно.

Снизу доносился звон посуды, кто-то спорил о том, какие цветы ставить в зале на церемонию, белые или алые, и двое лакеев, пыхтя, протащили по коридору мимо моей двери скатанный ковёр. Тильда пронеслась следом лёгким быстрым шагом, а за ней прокатился голос Агаты, сердитый и любящий разом: «Не бегай, расплещешь!» Я стояла у окна. Бухта совсем почернела, огни в нижнем городе зажглись все до единого, и от маяка по воде протянулась длинная дрожащая дорожка, золотая, как нитка в чёрном сукне.

Я достала из кармана перо и развернула платок. Перо лежало на ладони, лёгкое, гладкое, и на свету отливало синевой, как вороново крыло на старых гравюрах. Я раскрыла «Флору северных островов», чтобы спрятать его между страниц, и книга сама распалась посередине, там, где её, видно, раскрывали чаще всего.

Полынь. Artemisia borealis, северная.

На полях, рядом с аккуратной гравюрой, кто-то приписал карандашом, острым узким почерком, с сильным нажимом: «Здесь растёт только под стеклом. Аптека Линдквиста, нижний город. Спрашивать старика, не приказчика».

Буквы были чёткие, свежие, карандаш даже не успел стереться на сгибе. Это писали недавно. Но не этой ночью: книга с тех пор не выходила из моей комнаты. Значит, раньше, до того как он снял её с полки и протянул мне. Он выбрал её не наугад.

В дверь постучали.

— Войдите.

Вошёл Дамиан. Без сюртука, в одной рубашке с закатанными рукавами, и в руках у него был небольшой свёрток в коричневой бумаге, перевязанный бечёвкой. Он остановился на пороге и переложил свёрток из одной руки в другую, как школьник, пришедший сдавать урок.

— Я не помешаю?

— Нет, — сказала я и закрыла книгу, заложив пальцем страницу с полынью. Сама не знаю, почему мне не захотелось, чтобы он увидел карандашную строчку.

— Я вам кое-что принёс. — Он шагнул ближе и протянул свёрток. — Не знаю, угадал ли. Просто увидел и сразу подумал о вас.

Я развязала бечёвку и развернула бумагу. Внутри был маленький глиняный горшочек с землёй, а из земли поднимался тонкий стебель с узкими серебристыми листьями. Я наклонилась к нему, и в лицо мне ударил запах, горький, терпкий, знакомый до боли. Так пахли наши сени, наши подушки, сухие пучки под потолком отцовского кабинета.

Полынь.

— Здесь она не растёт, — сказал Дамиан. — Я нашёл её в нижнем городе, у одного старика в аптеке. Он держит её под стеклом и не хотел продавать, пришлось уговаривать. Сказал, ей нужно много света и мало воды. Я записал, чтобы не забыть. — Он положил на стол клочок бумаги, и я увидела его почерк, круглый, тёплый, с завитками на хвостах букв. Совсем не похожий на тот, острый, с полей.

Я посмотрела на клочок бумаги, потом на раскрытую книгу у себя на коленях, потом на Дамиана.

— Как вы нашли эту аптеку?

— Брат сказал, — ответил он просто. — Сегодня на рассвете, у дверей кабинета. Буркнул мне, что у старика Линдквиста есть, и ушёл, как всегда, ничего не объяснив. — Дамиан пожал плечами. — Я решил, что это для его склада. А у старика оказалась полынь.

Он не знал. Он стоял передо мной, высокий, бледный, со своими серьёзными медовыми глазами, и не знал, что его брат сначала написал мне на полях, где искать, а потом устроил так, чтобы искать пошёл он сам. А может быть, знал и всё равно пошёл. Я смотрела ему в лицо и не могла прочесть.

— Это лучший подарок, какой мне когда-либо дарили, — сказала я.

Это была правда. Только не вся.

— Правда? — Он выдохнул, как выдыхают после того, как долго держали дыхание. — Я не был уверен.

— Правда, — повторила я и коснулась пальцем серебристого листа. Он был бархатистый и прохладный. — У нас полынью перекладывают бельё, чтобы не заводилась моль, и вешают пучки над колыбелями. Я выросла в этом запахе. Здесь, в вашем доме, мне его не хватало больше всего, а я даже не понимала этого, пока вы не принесли.

Он подошёл к столу, чтобы переставить горшочек на подоконник, и оказался совсем рядом, ближе, чем за весь вчерашний вечер. От него пахло ночной сыростью, и холод, который всегда стоял вокруг него, коснулся моей щеки. А потом я поняла, что он перестал дышать. При мне он дышал только для того, чтобы я не пугалась, а сейчас забыл.

Он смотрел на мою шею. Туда, где под воротником билась жилка. Я не отодвинулась.

— Лоренсия, — сказал он очень тихо. — Отойдите. Пожалуйста.

Я не отошла. Отошёл он, сначала на шаг, потом ещё на два, и только у самой двери снова стал прежним Дамианом, мягким, виноватым, осторожным.

— Если вам когда-нибудь что-то понадобится, — сказал он, глядя не на меня, а на полынь, — и вы почувствуете, что никому в этом доме не можете сказать… скажите мне. Даже если я не смогу помочь. Я хотя бы не стану вас пугать.

— Вы только что напугали, — сказала я. Голос вышел ниже, чем мне хотелось, и я рассердилась на себя, потому что напугал он меня совсем не так, как пугают.

— Я знаю. — Уголок его рта дрогнул. — Поэтому и говорю «хотя бы».

Он говорил так, как говорят на прощанье, хотя уходил всего лишь к себе, в третью дверь по коридору. От этого мне стало зябко.

— Что должно случиться, Дамиан?

— Ничего, — ответил он слишком поспешно. — Ничего не случится. Это просто слова.

Он улыбнулся мне тёплой, виноватой улыбкой и вышел. Замок, как и вчера, не щёлкнул.

Я поставила полынь на подоконник, туда, куда ночью падал лунный свет. Клочок бумаги с круглым почерком подсунула под горшочек. А перо вложила в книгу, на страницу с полынью, рядом с острой карандашной строкой, и закрыла «Флору».

Дамиан солгал мне про собак и принёс полынь, о которой я не просила. А его брат, тот самый, что час назад выгнал человека в туман и даже не обернулся, оставил на полях подсказку, где эту полынь искать, хотя я ни о чём его не спрашивала. Меня везли сюда к Александру, бояться я, наверное, должна была его же, и к исходу второго дня у меня никак не получалось разложить их обоих по местам.

Про Бьорна я Дамиану так ничего и не сказала. Пусть это пока останется моим.

Глава третья. Пустой прибор

На третий вечер Тильда пришла с гребнем, шпильками и таким решительным лицом, будто собиралась не причёсывать меня, а брать крепость.

— Вы обещали, — сказала она с порога, прежде чем я успела открыть рот. — Вчера. «Завтра сделаешь». Я весь день только об этом и думала. Даже ложку в суп уронила. Мама сказала, я сегодня хуже обычного. А хуже обычного, госпожа, это уже совсем плохо.

Спорить с ней было бесполезно, и я, признаться, не хотела. Я села к зеркалу, и Тильда принялась за дело с таким усердием, что кончик языка у неё высунулся из уголка рта. Её пальцы, которые роняли всё на свете, в волосах вдруг становились ловкими и точными, как у кружевницы. Она разбирала пряди, шептала себе под нос какую-то считалку, считала шпильки, и я смотрела на её сосредоточенное лицо в зеркале и думала, что у каждого человека есть дело, в котором он перестаёт быть неуклюжим. Надо только найти.

— Сегодня ужин, — сообщила она шёпотом, хотя в комнате никого, кроме нас, не было. — Большой. В вашу честь. Повар с утра чуть не плачет, мама его дважды мятой отпаивала. Господин Валериан велел накрыть в большой столовой, на всех. Свечи, и серебро, которое с прошлого века не доставали. Будут все. Госпожа Серафина, господин Дамиан… — Она помедлила, и гребень в её руке на миг замер. — И господин Александр.

— Вы его боитесь, — сказала я, глядя ей в глаза в зеркале.

— Все боятся. — Тильда снова заработала гребнем, быстрее, чем нужно. — У меня третье, госпожа. За календулу. И оно важное. Вчера ночью папа сам отвёз на пристань того человека, которого господин Александр выгнал. А господин Александр уже ждал там, хотя все думали, что он у себя. Папа говорит, он дал тому человеку конверт. Толстый. И что-то сказал, папа не расслышал. А человек заплакал и пошёл на пароход.

Я не сразу нашлась, что ответить. Перед глазами встал мокрый двор, фонари, человек на коленях, и холодное, ничего не выражающее лицо, поднятое к нашему окну. А потом пристань и толстый конверт. Одно никак не укладывалось рядом с другим, и я вертела их в голове, как вертят два обломка, пытаясь понять, от одной ли они вещи.

— Конверт не вернёт ему дочь, — сказала я наконец, скорее себе, чем ей.

— Нет, — согласилась Тильда. — Но папа говорит, лучше выгнать с деньгами, чем без. Папа говорит, при старом господине выгоняли без.

Она воткнула последнюю шпильку, отступила на шаг и оглядела свою работу с видом художника, закончившего алтарный образ. Я повернула голову. Волосы были подняты высоко, гладко, а у лица она оставила две светлые пряди, и они падали на щёки мягко и небрежно, хотя я видела, сколько труда ушло на эту небрежность.

— Вот, — сказала Тильда. — Теперь не стыдно.

На кресле лежало платье, которое принесли днём от Серафины, в шёлковой бумаге, с запиской на плотном кремовом картоне: «Душа моя, к твоим глазам. Твоя тётя». Платье было цвета густой сливы, того же оттенка, что носила она сама, с низким вырезом и рукавами из чёрного кружева. Я подержала его на вытянутых руках. Оно было прекрасно и сшито точно по мне, и от этого мне стало не по себе. Кто снимал с меня мерку?

— Наденете? — с надеждой спросила Тильда.

Я положила платье обратно в бумагу.

— Нет. Достань из сундука голубое. Светлое, с серебряными пуговицами.

Тильда открыла рот, закрыла, и по её лицу я видела, что она изо всех сил старается не спросить почему.

Платье было цвета неба над Гренхольмом в ясный морозный полдень, когда снег на крышах слепит глаза, а дым из труб поднимается в небо прямо, как свеча. Отец заказал его к моему двадцатилетию, и я надевала его всего дважды. Тильда разложила его на постели, и я смотрела на голубой шёлк и вдруг поняла, что за все эти дни ни разу не видела неба. Три дня на корабле в молочной мгле, потом ночь, потом день за закрытыми ставнями, потом снова ночь. Туман, темнота, свечи. Я так соскучилась по голубому, что у меня заныло под рёбрами, как ноет зуб.

Была и вторая причина, попроще. В доме, где за меня уже выбрали комнату, суп, ветку на столе и жениха, мне захотелось хотя бы платье выбрать самой.

Большая столовая, которую я видела вчера пустой и тёмной, сегодня горела вся.

На длинном столе, накрытом теперь во всю длину, стояли три высоких серебряных канделябра, и в каждом трепетало по семь свечей. По всей длине стола, между блюдами, лежала гирлянда из еловых лап с красными ягодами остролиста. Ель была нашим знаком, но здесь, за две недели до Рождества, её положили не ради меня, и от этого мне почему-то стало легче. Свет дробился в хрустале, в начищенном серебре, в тёмных окнах, за которыми лежала бухта, и комната, вчера похожая на склеп, казалась теперь натопленной и праздничной. Пахло жареной дичью, горячим хлебом, гвоздикой из соусника, и где-то под всем этим, тонко, железом. Я узнала этот запах и сделала вид, что не узнала.

Они уже были там, все четверо, и все обернулись, когда я вошла.

Валериан стоял во главе стола, высокий, седой, в тёмном сюртуке с орденской лентой на груди, о которой я ничего не знала. Серафина сидела по правую руку от него, неподвижная и белая в своём сливовом шёлке, и на одно долгое мгновение снова показалась мне статуей. Потом её взгляд скользнул по моему голубому платью, и лицо ожило. Она улыбнулась, но улыбка вышла на волос короче вчерашней.

Дамиан поднялся мне навстречу. Он был в чёрном, без серьги, и от этого казался старше и строже. Глаза его потеплели, но подойти он не успел.

Александр стоял у окна, спиной к бухте, и смотрел на меня тем же взглядом, каким вчера смотрел из двора. На нём был тёмно-серый сюртук, безупречный, как ведомость, и чёрные перчатки. Он не улыбнулся и не шевельнулся. Только чуть наклонил голову, как наклоняют перед документом, который предстоит подписать.

— Госпожа Лоренсия, — произнёс Валериан, и голос его наполнил комнату до самых углов. — Дом Морвейнов рад приветствовать вас за своим столом.

Я присела в реверансе, глубоком и правильном, как учили, и, выпрямляясь, успела поймать взгляд Александра. Он смотрел на мой реверанс с тем же выражением, с каким я, наверное, смотрела бы на плохо сваренную мазь. И я вспомнила вчерашнюю библиотеку. «Я не хотел, чтобы знакомство началось с поклона». Что ж. Он всё равно его получил, и, кажется, ему это понравилось не больше, чем он обещал.

По обычаю невесту сажают рядом с женихом. Лакей отодвинул мне стул по левую руку от Валериана, и Александр, помедлив ровно столько, чтобы это заметили все, сел рядом со мной. Не близко. Между нашими стульями поместился бы ещё один, и, когда он садился, я услышала, как ножки его стула чуть отъехали по паркету, ещё на ладонь от меня. Дамиан оказался напротив, через стол, между Серафиной и пустым местом, на котором стоял прибор, но не стояло стула.

Я смотрела на этот прибор дольше, чем следовало. Серебряная вилка, нож, хрустальный бокал, тарелка с золотым ободком, и никого.

— Это место моей жены, — сказал Валериан, проследив мой взгляд. — Его накрывают на каждый большой ужин. Привычка старика. Простите, если она вас смущает.

— Нет, — ответила я тихо и сама удивилась, что это правда. — У нас дома тоже ставят лишнюю чашку в ночь поминовения. Мне кажется, мёртвым приятно, когда их помнят за столом, а не только в церкви.

Валериан посмотрел на меня долгим взглядом, и я не смогла понять, тронула я его или задела. А Серафина вдруг негромко рассмеялась и сказала:

— Вот видишь, Валериан, она понимает. Я же говорила тебе, она из понимающих.

Хотела бы я знать, когда она успела ему это сказать.

Подали первое. Бульон, прозрачный, янтарный, с крошечными пирожками на отдельной тарелке. Я взяла ложку и только тогда заметила, что никто из них не ждёт, пока я начну, как полагается. Они начали одновременно со мной, все четверо, ровно и аккуратно, и ели так, как едят в хорошем доме. Не торопясь, не стуча ложками, промокая губы салфеткой. И ни на одном лице не было ни малейшего удовольствия.

Я ела и смотрела. Бульон был превосходный, крепкий, с дымком, с можжевельником и щепотью тмина, как варили у нас в порту, и мне хотелось закрыть глаза от первой же ложки. А Валериан ел его, как пьют лекарство. Серафина отломила кусочек пирожка, прожевала, отложила остальное. Дамиан поймал мой взгляд над своей тарелкой и чуть заметно, виновато улыбнулся.

— Вам любопытно, — сказал Валериан, не поднимая глаз от бульона.

Скрывать было бессмысленно. Я покраснела, но взгляда не отвела.

— Простите. Дамиан говорил мне, что не ел горячего лет десять, а вы едите. Я не понимаю, зачем, если… — Я запнулась, подыскивая слово помягче, и не нашла. — Если вам это не нужно.

— Не нужно, — согласился он. — И вкуса мы не чувствуем, сударыня, уже очень давно. Для нас этот бульон всё равно что тёплая вода, а пирожок всё равно что промокательная бумага. Вреда от него нет, пользы тоже. Только вино ещё помнит, каким бывает вкус, — он коснулся пальцем бокала, — и то лишь потому, что в нём есть хмель. Чем крепче напиток, тем ярче вкус. Старый коньяк для нас как музыка, а это лёгкое рейнское всего лишь шёпот. — Он положил ложку и посмотрел на меня поверх свечей, и в его усталых глазах мелькнула улыбка. — Но хлеб, преломлённый за одним столом, остаётся хлебом, даже если не чувствуешь его вкуса. Вы приехали к нам издалека. Я хотел, чтобы в первый раз вы сидели за этим столом не одна, а с семьёй. Пусть даже с такой.

Я опустила глаза в тарелку. В горле стало тесно, и я сделала глоток воды, чтобы ничего не отвечать. Меня учили, что вампиры холодны, расчётливы и смотрят на нас, ведьм, как на кладовщиков при своих погребах. Ни одна наставница не говорила, что глава рода Морвейнов станет жевать хлеб, вкуса которого не чувствует, лишь бы невеста его сына не ужинала в одиночестве.

— Отец сентиментален, — сказал Александр.

Это были первые слова, которые он произнёс за весь вечер. Он сказал их ровно, без насмешки, глядя в свою тарелку, где лежал нетронутый пирожок.

— Отец вежлив, — поправил его Дамиан через стол, и в голосе его было больше стали, чем я когда-либо от него слышала. — Попробуй как-нибудь. Говорят, это не смертельно.

— Мальчики, — пропела Серафина.

Александр медленно поднял глаза на брата. Ничего не сказал. Но я сидела рядом с ним и видела, как его рука в перчатке, лежавшая на скатерти, сжалась в кулак, а потом так же медленно разжалась, палец за пальцем. Дамиан выдержал его взгляд. Свечи между ними горели ровно, ни одно пламя не дрогнуло, и всё-таки мне показалось, что над столом прошёл сквозняк.

Принесли рыбу, потом жаркое, потом горшочки с грибами в сливках. Повар с материка, видно, решил за один вечер доказать, что не зря пережил туман. Я ела, потому что от меня этого ждали, и потому что всё было вкусно до слёз, и чувствовала себя одновременно гостьей

на пиру и единственным живым человеком на поминках. Они вежливо жевали и разговаривали. И только когда подносили к губам бокалы, лица их на мгновение менялись. Валериан отпивал медленно, с закрытыми глазами, как слушают далёкую мелодию. Серафина велела лакею подать ей вместо рейнского вишнёвой наливки, покрепче, и пригубила её с таким тихим вздохом удовольствия, что мне стало неловко, будто я подсмотрела чужую молитву. Дамиан выпил свой бокал быстро и сразу налил второй. Александр к вину не притронулся вовсе. Бокал перед ним так и простоял полным до конца ужина, и я никак не могла решить, что это значит. Что ему не нужно? Или что ему нельзя?

Вернее, разговаривала Серафина. Она расспрашивала Валериана о каком-то письме от Совета, Дамиана о новой книге, которую тот будто бы читает, меня о том, понравилось ли мне платье. Я ответила, что платье чудесное и что я непременно надену его, когда научусь носить такие вырезы, и Серафина рассмеялась так весело, что я так и не поняла, обиделась она или нет.

Александр молчал. Ел он мало и аккуратно, не снимая перчаток, и я никак не могла отвести глаз от того, как чёрная кожа обхватывает серебряную вилку. В перчатках не едят. Это знает любая девочка, которую учили манерам. Он нарушал правило так спокойно, так буднично, что никто за столом даже не смотрел на его руки. Никто, кроме меня.

— Вы смотрите на мои руки, — сказал он негромко, не поворачивая головы. — Второй раз.

— Я считаю, — ответила я так же тихо. — Вчера вы посоветовали мне считать, сколько раз ваш брат решит за меня. Я подумала, что заодно буду считать и за вами.

Уголок его рта едва заметно дрогнул. Это была не улыбка, а только её тень, но я её увидела.

— И сколько?

— За вами пока ни одного. Вы за меня ничего не решаете. Вы решаете за других.

Я не собиралась этого говорить. Слова вышли сами, и, когда вышли, я поняла, что весь вечер держала их во рту, как держат горькую таблетку. Мокрый двор. Человек на коленях. Его дочь в нижнем городе.

Александр отложил вилку.

— Вы о вчерашнем, — сказал он. Не спросил.

— О вчерашнем. — Я заставила себя смотреть ему в лицо, хотя смотреть было тяжело, как в зимнее окно на солнце. — Я понимаю, почему. Ваш отец объяснил. Печать, Совет, свидетель. Свидетелем была я. Я всё понимаю. Только у этого человека дочь, и туман за ним закрылся. Вы сами так сказали.

Он молчал так долго, что я успела пожалеть обо всём. О словах, о голубом платье, о том, что вообще села за этот стол. Напротив Дамиан перестал притворяться, что слушает Серафину, и смотрел на нас.

— Его дочь здесь, — сказал наконец Александр, очень тихо, чтобы слышала только я. — Ей девять. Она будет жить в доме у Ганса и Агаты, пока не вырастет. Потом, если захочет, уедет к отцу на почтовом пароходе. Туман закрывается за теми, кто уезжает. Не за теми, кто возвращается к своим. — Он снова взял вилку. — Это вам тоже стоит посчитать, Ренси.

Я сидела и не знала, куда деть руки. Ганс. Агата. Час назад Тильда ни словом не обмолвилась о девочке, а ведь должна была знать. Или ей велели молчать, как велели молчать о жалованье для матери? Сколько ещё в этом доме знали то, чего не знала я, и сколько раз Александр делал добро, о котором все молчали, потому что он так велел?

— Почему вы мне это говорите? — спросила я.

— Потому что вы спросили. — Он отрезал кусок мяса, который так и не съел. — Остальные не спрашивают. Боятся.

— А я?

Он впервые за весь ужин повернулся ко мне. Свечи отразились в его стальных глазах, и глаза эти были совсем близко, ближе, чем в библиотеке, ближе пяти шагов. Я услышала, как он втянул воздух, коротко, сквозь зубы, и тут же перестал дышать вовсе.

— А вы считаете, — сказал он. — Это хуже.

И отвернулся. А я поняла, что сижу, вцепившись в край скатерти, и что сердце у меня колотится так громко, что его, наверное, слышат все за этим столом, все до единого, кроме разве что пустого прибора.

— Лоренсия, душа моя, — вдруг громко позвала Серафина через стол. — Дамиан тут уверяет, что ты ещё не видела города. Это правда?

Я отпустила скатерть.

— Только из окна кареты. Когда ехала с причала.

— Из окна кареты! — Серафина всплеснула белыми руками, и браслеты зазвенели. — Валериан, ты слышишь? Девочка третий день в Хельвике и не видела Хельвика. Дамиан, ты должен ей показать. Сегодня же. Ночь ясная, луна, набережная, огни… Ты слышишь меня, мой мальчик?

— Слышу, тётя. — Дамиан посмотрел на меня через стол. — Если Лоренсия захочет.

Все смотрели на меня. Валериан, Серафина, Дамиан. Александр не смотрел. Он аккуратно сложил салфетку, положил её рядом с тарелкой и сидел неподвижно, глядя в тёмное окно.

Я хотела. Мне до смерти хотелось выйти из этой тёплой, сверкающей комнаты, где четверо вежливых людей жевали хлеб без вкуса, а один из них только что сказал мне, что я хуже тех, кто боится. Хотелось на воздух, на холод, туда, где можно дышать, не боясь, что тебя услышат.

— Захочу, — сказала я Дамиану. — Если вы покажете мне не только набережную.

— А что ещё? — спросил он.

— Всё, — ответила я. — Я ведь здесь теперь живу.

Александр поднялся из-за стола. Коротко поклонился отцу, Серафине, мне, по отдельности, без единого лишнего движения.

— Покажи ей склад, — сказал он брату, уже от двери. — Пусть видит, что везла.

И вышел, прежде чем Дамиан успел ответить.

Ночной Хельвик был совсем не похож на тот город, что я видела из окна кареты в ночь приезда.

Тогда он показался мне вымершим, наглухо закрытым ставнями. Теперь, когда мы спустились пешком по крутой улице от ворот Морвейнов, он жил. Окна горели тёплым жёлтым светом, на подоконниках по северному обычаю теплились свечи в еловых ветках, где-то за стеной на расстроенном фортепиано подбирали рождественский хорал, из открытой двери трактира пахнуло пивом и жареной селёдкой, и оттуда же вывалился, смеясь, человек в рыбацкой куртке, чуть не налетел на нас, увидел Дамиана, сдёрнул шапку и прижался к стене, пропуская. Дамиан кивнул ему, как кивают знакомым, и человек выдохнул, только когда мы прошли.

— Они вас знают, — сказала я.

— Они знают всех нас. — Дамиан шёл рядом, держа руки в карманах длинного чёрного пальто, и в свете фонарей его лицо казалось выточенным из кости. — Знают и молчат. Это и есть Хельвик, Лоренсия. Город, где все всё знают и никто ничего не говорит. Отец называет это гармонией. Я называю это привычкой.

— А как называет Александр?

Он помолчал.

— Сделкой, — сказал он. — Брат всё называет сделкой. Даже то, что ею не является.

Улица спускалась к бухте так круто, что в некоторых местах вместо мостовой шли ступени, вытертые посередине до вмятин. Брусчатка блестела от мокрого снега, который таял, едва коснувшись камней. Я шла осторожно, приподнимая подол голубого платья, и думала о том, что надо было переодеться, и о том, что не переоделась нарочно. Мне нравилось, как на меня смотрят прохожие. Не на Дамиана, на меня. Быстро, украдкой, с тем жадным любопытством, с каким смотрела в первую ночь Тильда. Невеста. Ведьма. Та самая.

На одном из крутых поворотов каблук скользнул по мокрому камню, и я не успела даже испугаться. Рука Дамиана поймала мою раньше, чем я начала падать, крепко, уверенно, и удержала. Ладонь у него была холодная, как перила зимой, и твёрдая.

— Здесь скользко, — сказал он. — Позвольте.

И не отпустил.

Мы спустились так ещё пролёт, рука в руке, и я чувствовала, как холод его пальцев понемногу перестаёт быть холодом, как моя рука греет его, а он не отнимает её, хотя мог бы. Я смотрела вперёд, на огни бухты, и не смотрела на него. Если бы посмотрела, пришлось бы заговорить или отнять руку, а я не хотела ни того, ни другого.

— Вы снова решили за меня, — сказала я наконец, когда ступени кончились и под ногами снова была ровная мостовая.

— Решил, — согласился он. — Можете засчитать. — Он помолчал и добавил тише: — Хотите, я отпущу?

Я не ответила. И он не отпустил.

Набережная открылась внезапно, за углом старого склада, вся сразу, широкая, мощёная, залитая жёлтым светом газовых рожков, а над ними белым, холодным, шипящим светом дуговых ламп на высоких чугунных столбах. Внизу, у причалов, покачивались рыбацкие лодки, и вода между ними была чёрной, как чернила, и в ней дрожали все огни города, перевёрнутые и разбитые на тысячу кусков. Пахло солью, смолой, мокрыми канатами. Я остановилась и смотрела, и Дамиан стоял рядом и не торопил.

Лавку я узнала сразу. Маленькая, с зелёной дверью и низкой витриной у самой воды, а в витрине, среди оловянных солдатиков, фарфоровых кукол и деревянных корабликов, стояла лошадка-качалка. Серая в яблоках, с настоящей гривой из конского волоса и красным седлом. И на ней, как и в первую ночь, не было ни пылинки.

— Я видела её с причала, — сказала я и сама услышала, как по-детски это прозвучало. — В ночь, когда приехала. Я всё думала, кто её протирает, если в Хельвике почти нет детей.

— Хотите узнать? — спросил Дамиан.

Не дожидаясь ответа, он толкнул зелёную дверь, и над ней звякнул колокольчик.

Внутри было тесно, тепло и пахло лаком и древесной стружкой. За прилавком сидела маленькая старушка в чёрном вдовьем чепце и при свете лампы клеила крошечный парус для кораблика. Она подняла голову, увидела Дамиана, и лицо её не испугалось, а осветилось.

— Господин Дамиан. — Она поднялась, опираясь на прилавок. — Давно вас не было.

— Госпожа Хельга. — Он поклонился ей, как кланяются знатной даме. — Я привёл вам гостью. Госпожа Лоренсия хотела бы знать, кто заботится о вашей лошадке.

Старушка перевела на меня выцветшие голубые глаза, долго смотрела, и я почувствовала, что меня взвешивают не хуже, чем вчера взвешивала Серафина, только без всякой ласки.

— Я и забочусь, — сказала она наконец. — Каждое утро. Тряпочкой.

— Для кого? — спросила я и тут же испугалась, что это прозвучало грубо. — Простите. Я не хотела… Просто в витрине всё остальное в пыли, а она одна чистая.

Старушка вздохнула и снова опустилась на табурет.

— Для внука, — сказала она. — Сын мой уехал на материк двенадцать лет назад, на почтовом. Молодой был, горячий, хотел мир посмотреть. Женился там. Пишет, что у него сын, и что мальчик уже большой, и что они приедут. — Она погладила крошечный парус узловатым

пальцем. — Двенадцать лет пишет, что приедут к Рождеству. А туман, госпожа, за теми, кто уехал, закрывается. Не сразу. Сначала они пишут, что приедут. Потом пишут, что, может быть, летом. Потом пишут реже. А потом им начинает казаться, что Хельвик им приснился.

Я стояла и не могла выговорить ни слова. «Туман закрывается за теми, кто уезжает». Александр сказал мне это меньше часа назад, через стол, вполголоса. И сказал правду.

— Я протираю её, чтобы не забыть, — сказала госпожа Хельга. — Не его. Себя. Что у меня есть внук. Если перестану протирать, значит, и я поверила, что он мне приснился.

Дамиан купил у неё кораблик с недоклеенным парусом. Она не хотела продавать, говорила, что парус кривой, но он положил на прилавок монету и сказал, что кривые паруса ему нравятся больше прямых. Когда мы выходили, колокольчик над дверью звякнул снова, и я оглянулась. Старушка стояла у витрины и тряпочкой, медленно, бережно, протирала лошадке гриву.

— Зачем вы меня туда привели? — спросила я, когда мы снова оказались на набережной.

Дамиан повертел в пальцах кораблик.

— Вы сказали за ужином, что хотите видеть всё, — ответил он. — Вот это тоже Хельвик. Лошадка, которую некому качать. Город, где почти не рождаются дети, потому что наши дети рождаются только у ведьм и убивают своих матерей, а дети людей вырастают, уезжают и не возвращаются. — Он посмотрел на воду. — Брат сказал бы, что это цена договора. Отец сказал бы, что это цена мира. А я думаю, что это просто цена. И что платим её не мы.

Он протянул мне кораблик. Я взяла его, лёгкий, пахнущий клеем, с кривым белым парусом.

— Для ваших сестёр, — сказал Дамиан. — Для Клариссы. Она ведь любит сушёные яблоки, а не корабли, но вдруг полюбит.

Я спрятала кораблик в карман, рядом с отцовским кольцом, которое опять вертела, сама не замечая. И не сказала ничего. Если бы сказала, голос бы меня выдал.

Склад стоял в самом конце набережной, там, где кончались фонари.

Длинное приземистое здание из тёмного кирпича, без окон, с тяжёлыми коваными воротами, над которыми висел одинокий фонарь. На воротах, прямо в железо, был впаян наш знак, еловая ветвь в круге. Я остановилась перед ним, и мне вдруг стало холодно, хотя ветра не было.

Дамиан остановился тоже. Он смотрел не на ворота, а на меня.

— Вам не нужно этого видеть, Лоренсия, — сказал он, и голос его изменился. Стал ниже, твёрже, тем самым голосом, каким он в первую ночь говорил со слугами. — Брат сказал это назло мне, а не ради вас. Там холодно, там пахнет так, что вам станет дурно, и там нет ничего, кроме ящиков и счетоводов. Давайте вернёмся. Я покажу вам маяк.

— Это наша печать, — сказала я и кивнула на ворота. — Мой отец ставит её своими руками. У него потом весь вечер пахнут палёным пальцы. Я хочу видеть, что мы охраняем.

— Вы увидите кровь в бутылках.

— Я привезла её вам в трюме три дня назад, — ответила я. — Я спала над ней. Я знаю, как она пахнет.

Он покачал головой, и я увидела, что он не уступит. Не из упрямства. Из того же страха, с каким он вчера сказал мне «отойдите». Он боялся не склада. Он боялся, что я увижу там что-то, после чего начну смотреть на него иначе.

Я могла бы спорить ещё долго. Могла бы напомнить ему о Бьорне, которого нет, и посмотреть, как он побледнеет. Но эта карта у меня была одна, и тратить её на склад было бы глупо. Я выбрала другую, дешевле.

— Хорошо, — сказала я легко. — Не хотите, не надо. Завтра я попрошу вашего брата. Он, кажется, не из тех, кто говорит «вам не нужно этого видеть». Он ведь сам предложил.

Дамиан замер. Лицо его не изменилось, только в глубине медовых глаз на мгновение вспыхнул красный отблеск, тот самый, с причала, и тут же погас. Мне стало стыдно и страшно одновременно, и я не отвела взгляда, хотя очень хотелось.

— Это нечестно, — сказал он тихо.

— Нечестно, — согласилась я. — Но вы ведь тоже не всегда говорите мне правду.

Он долго смотрел на меня. Потом коротко, невесело усмехнулся, подошёл к воротам и трижды постучал в маленькую дверь, прорезанную в створке.

— Вас хорошо учили, — сказал он, не оборачиваясь.

— Очень хорошо, — ответила я. — Двенадцать лет.

Дверь открыл сторож, пожилой, в овчинном жилете, с фонарём в руке. Увидел Дамиана, поклонился и отступил, пропуская нас внутрь. Я переступила порог, и холод обнял меня сразу, плотный, неподвижный, как вода в колодце.

Внутри склад оказался огромным. Под низкими сводами уходили в темноту ряды стеллажей, и на них, плотно, один к другому, стояли ящики из тёмного дуба, окованные железом. Такие же, как те, что выгружали в ночь моего приезда. На каждом выжжен знак ковена. В проходах горели редкие лампы под жестяными колпаками, и в их свете дыхание вырывалось изо рта белым паром. Моё. Дамиан не дышал.

Пахло железом. Не так, как от треснувшего ящика на причале, остро и сладко. Здесь запах был тихий, застоявшийся, приглушённый печатями, но его было так много, что он оседал на языке, на губах, на волосах. Я стиснула зубы и пошла вперёд, между стеллажами.

В конце прохода, за конторкой, при свете зелёной лампы сидели двое счетоводов в нарукавниках и записывали цифры в толстые книги. Один поднялся нам навстречу, молодой, худой, с острым кадыком и испуганными глазами.

— Господин Дамиан. — Он поклонился так низко, что едва не задел лбом конторку. — Мы не ждали… Приёмка закончена, всё сверено, вот ведомость, если угодно…

— Не угодно, — сказал Дамиан. — Госпожа Лоренсия хотела посмотреть склад. Она дочь главы ковена.

Счетовод перевёл на меня взгляд, и я увидела, как он побледнел ещё сильнее, хотя казалось, что сильнее некуда. Он поклонился снова, теперь мне, и пробормотал, что это большая честь.

— Сколько здесь? — спросила я.

— Простите, госпожа?

— Ящиков. Бутылок. Сколько здесь всего?

Счетовод беспомощно оглянулся на Дамиана, тот едва заметно кивнул.

— Четыреста двенадцать ящиков, госпожа, по двадцать четыре бутылки в каждом. — Он сглотнул. — На два месяца, если не будет перебоев. А с прошлого года перебои бывают. Поставки сократили. В этом месяце пришло на одиннадцать ящиков меньше, чем ждали.

На одиннадцать ящиков меньше. Я вспомнила библиотеку, ведомость под зелёной лампой, руку в перчатке, постукивающую по закрытой странице. «Ваш ковен называет это бережливостью».

— Почему сократили? — спросила я.

Счетовод открыл рот, закрыл, снова оглянулся. На этот раз Дамиан не кивнул.

— Это решает Совет, госпожа, — сказал счетовод. — Поставками ведает господин Торн. Ведомости господин Торн сверяет лично. Каждую.

Он произнёс это имя так, как произносят имя врача, к которому идут с дурной болезнью. Почтительно и с ужасом. Второй счетовод за конторкой на миг перестал писать.

— Позвольте предложить вам чаю, госпожа, — засуетился первый. — Здесь холодно, а у нас самовар, горячий…

Я хотела отказаться, но не успела. Из темноты между стеллажами вынырнул мальчишка лет двенадцати, в огромном, не по росту картузе, рассыльный или подручный, и, проходя мимо меня, сунул мне в руку сложенную бумажку. Сунул быстро, ловко, глядя в другую сторону, и тут же нырнул за ящики.

Я сжала бумажку в кулаке и подождала, пока счетовод отвернётся к самовару. Потом развернула её, пряча в складках юбки.

Острый, узкий почерк. Сильный нажим. Тот самый, что на полях «Флоры».

«Не пейте их чай. Его заваривают для гостей, которым не нужно помнить этот склад».

Я подняла голову. Счетовод уже нёс ко мне стакан в мельхиоровом подстаканнике, и от стакана поднимался пар. Пахло мёдом и мятой, густо, щедро, слишком щедро для конторского чая. А под мятой, едва различимо, тянуло горьким болотным духом. Багульник, решила я. Или сон-трава. У нас в ковене такое заваривали больным перед тем, как вправлять кости, чтобы они не кричали, а наутро не помнили боли. Человек после такого стакана становится покладистым и сонным и на следующий день не может вспомнить, где был и с кем говорил. А сами счетоводы, я заметила, пили из другого чайника, медного, что стоял на краю конторки.

— Благодарю вас, — сказала я и улыбнулась счетоводу самой светской из всех своих улыбок. — Но у меня от чая сердцебиение. Мне уже пора.

Дамиан посмотрел на меня удивлённо, но ничего не сказал. Счетовод, по-моему, вздохнул с облегчением.

Уходя, я обернулась у самой двери. Мальчишки нигде не было. Только ряды ящиков с еловой ветвью уходили в темноту, и в этой темноте холодно и тихо пахло железом.

Обратно мы поднимались молча.

Луна стояла высоко, и крутая улица, по которой мы спускались, теперь казалась вдвое круче. Я шла медленно, и Дамиан шёл рядом, держа меня за руку, хотя здесь уже не было скользко. Я не отнимала руку. Бумажка лежала у меня в кармане, рядом с кривым корабликом, и я чувствовала её сквозь ткань, как чувствуют занозу.

Откуда Александр знал, что мы придём на склад? Он сам сказал брату показать мне склад, при всех, у дверей столовой. Значит, знал заранее и заранее написал записку, и заранее послал мальчишку. Или мальчишка служит ему всегда и ждал там каждую ночь? И зачем поить сонной травой дочь главы ковена? Чтобы наутро я не вспомнила цифр? Четыреста двенадцать ящиков, перебои в поставках, одиннадцать ящиков, имя Торна? Значит, кому-то на этом складе очень не хочется, чтобы я это запомнила. Значит, гостей сюда водят не впервые, и каждый уходит, помня только холод, любезного счетовода и сладкий чай. А медный чайник для своих стоит на краю конторки, у всех на виду, и никто его не прячет.

И почему он не сказал мне об этом за ужином, когда сидел рядом? Почему записка, мальчишка, тайна, если можно было просто наклониться и сказать на ухо?

Потому что за ужином сидела Серафина, ответила я себе. И Дамиан.

От этой мысли мне стало так холодно, что я сжала руку Дамиана сильнее, чем хотела.

Он остановился. Мы стояли на площадке посреди крутой улицы, между двумя пролётами ступеней, под погасшим фонарём, и вокруг не было ни души. Только луна и далеко внизу огни бухты.

— Вы замёрзли, — сказал он.

— Нет.

— Ваше сердце, — тихо сказал Дамиан. — Оно стучит так, будто вы бежали. С самого склада. Я слышу.

Я подняла на него глаза. Он стоял совсем близко, и лунный свет делал его лицо белым, как бумага, а глаза под тяжёлыми веками тёмными, почти чёрными. Он не отводил взгляда. Его

холодная рука держала мою, и большой палец медленно, едва касаясь, лёг на запястье, туда, где под кожей билась жилка.

— Что вы делаете? — прошептала я.

— Запоминаю, — ответил он так же тихо. — Как оно стучит, когда вы боитесь. Чтобы потом узнать, как оно стучит, когда вам хорошо. Если когда-нибудь узнаю.

Мне надо было отнять руку. Я знала это так же ясно, как знала, что полынь горькая, а ночь холодная. Я не отняла. Я стояла на пустой площадке посреди спящего города, и его палец лежал на моём пульсе, и я чувствовала, как сердце под этим пальцем сначала мечется, а потом, медленно, понемногу, начинает успокаиваться под его ладонью, как успокаивается испуганная птица в руке.

Он заметил это раньше меня. Я увидела по его лицу. Лицо его на миг раскрылось, беззащитно, по-мальчишески, и тут же закрылось снова, как закрывают дверь, за которой слишком светло. Он отпустил моё запястье. Но не руку.

— Пойдёмте, — сказал он. — Вы правда замёрзли.

Мы поднялись по последним ступеням, и ворота Морвейнов открылись нам навстречу прежде, чем мы успели постучать. В холле горела одна свеча. Левые часы показывали без семи полночь. Правые ровно полночь.

У лестницы Дамиан отпустил мою руку, поклонился и пожелал мне доброй ночи. Я поднялась к себе, заперла дверь и долго стояла у окна, глядя на бухту. Потом достала из кармана записку и разгладила её на подоконнике, рядом с горшочком полыни.

«Не пейте их чай. Его заваривают для гостей, которым не нужно помнить этот склад».

Господин Торн сверяет ведомости лично. Каждую. Я ещё ни разу не видела этого человека. Но если он сверяет каждую, то знает и то, куда деваются одиннадцать ящиков в месяц.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.